



АНАТОЛИЙ
КУЗНЕЦОВ

СЕЛЕНГА

АНАТОЛИЙ
КУЗНЕЦОВ







АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ

СЕЛЕНГА

РАССКАЗЫ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ • МОСКВА • 1961

Анатолий Кузнецов родился в 1929 году в г. Киеве. После окончания школы он работал на строительстве Каховской гидроэлектростанции рабочим, а затем литературным работником в многотиражке.

В 1960 году А. Кузнецов закончил Литературный институт имени А. М. Горького.

Первая его книга — повесть «Продолжение легенды» — вышла в 1958 году и переведена на языки многих народов.

В 1960 году вышла его вторая книга — «В солнечный день» — рассказы для детей.

«Селенга» — новая книга рассказов А. Кузнецова. Герои их — рабочие, врачи, строители, шоферы. Они живут в Сибири, на Ангаре, у Байкала, на целине, строят заводы, города, убирают хлеб, лечат людей, мечтают, спорят, радуются, борются. Об их обыкновенной и в то же время необыкновенной жизни рассказывает А. Кузнецов.



СЕЛЕНГА

Вторые сутки пароход «Маршал Чойбалсан» плыл на север по Селенге.

Строился он еще до революции — неуклюжий, плоский и широкий, как блюдо; он густо дымил на ослепительные сопки, старательно молотил скользкими плитами и в меру старческих сил воевал с мутной норовистой рекой.

Селенга берет начало в Монголии и является самой крупной из рек, впадающих в Байкал, а «Маршал Чойбалсан» — единственное пассажирское судно на ней и главное средство связи в этих малонаселенных местах.

Когда показывался какой-нибудь глухой бурят-монгольский аймак, начиналось радостное оживление. Еще

издали, из-за поворота, пароход нетерпеливо трубил, как лошадка, зачуйвашая конюшню; на мачте взрывался динамик и вдруг начинал голосить:

Ландыши, ландыши,
Светлого мая привет...

К берегу сбегались возбужденные буряты, ловили чалку, спешили в пароходный ресторан за пивом. Появлялись девушки в нарядных одеждах с множеством звякающих украшений и, став поодаль, чинно смотрели, как с палубы на землю летели ящики, корзины, стружались зеркальный шкаф, обернутые бумагой новые стулья.

Мимо многих пристаней, обозначенных на карте и в расписании, проходили не задерживаясь: никто не сходил, никто не садился. Впрочем, и название «пристань» для них слишком громко. Большею частью это вытоптаные лысины над обрывчиками, иногда с вкопанным столбом — больше ничего.

Только сопки вокруг, холодное небо, пронзительный ветер да дикие утки. Много диких уток...

Он сел на одной из таких «пристаней».

Одинокая серая фигура стояла у столба и голосовала поднятой рукой, как на шоссе. Рядом лежал в траве небольшой чемодан.

«Маршал Чойбалсан» застопорил машину, развернулся против течения, долго тыкался носом в песчаный обрыв, отваливая глыбы, взбивал воду, шипел, дрожал, наконец кое-как приспособился — на берег перекинули доску, и человек взбежал по ней.

Казалось, на вид ему лет двадцать пять.

Одет он был по-городскому: светлая куртка на «молниях», брюки с аккуратными складками, через руку — несколько выцветший, помятый плащ. Лицо — белое, холеное, с ямочками на лбу и щеках, брови красивые, густые, но глаза холодные, какие-то недружелюбные; губы полные, и на верхней — небольшие мальчишеские усики.

Ни с кем не вступив в разговор и ни на кого не глядя, он уплатил за билет и сразу же ушел вниз.

Там все проходы оказались забитыми грузом, мебелью. У буфета толпилась очередь, было налито на

железный пол. Под жаркими переборками машинного отделения вповалку спали солдаты с автоматами в чехах. Стоял горячий дух, обычный внутри старых пароходов, — смесь пара, масла и дыма. Сквозь стекло виднелись громадные медные шатуны, мерно ходившие вверх-вниз.

Парень толкнулся на корму, но там в растоптанном навозе стояли маленькие бурятские кони. Они грохали копытами и кусались. Переступая через ноги спящих солдат, новый пассажир поплелся обратно.

У паровой кассы ему довелось принять участие в сцене, собравшей толпу.

Какой-то пыльный и всклокоченный человек цыганского вида, вероятно приняв его за возможное начальство, вдруг обратился:

— Я извиняюсь...

Парень вздрогнул и вопросительно поднял брови. Глаза его чуть заметно забегали.

— Я извиняюсь, — повторил всклокоченный человек. — Вот вы грамотный? Разберитесь, пожалуйста, как это у меня получилось. Мы едем всем семейством. Говорят, что ребятишек до пяти годов возят бесплатно, а у меня их трое, и сколько ездим, не брали, а тут взяли три детских билета.

Он полез за пазуху, достал смятые билеты и воодушевленно стал показывать их всем:

— Мы в их тарифах не понимаем. Берут — платим. Мы не знаем, может, так надо. А может, и не надо. Там денег тех — рупь двадцать, не в них дело. Деньги у нас найдутся! Я говорю: если по закону надо, то пусть, конечно. Но только мы сомневаемся...

Парень окинул его взглядом, и все увидели, что глаза у него не холодные, а скорее безразличные, усталые. Он стукнул в окошко кассы и негромко сказал:

— Здесь товарищ... обижается, что напрасно взяли билеты на детей. Разберитесь, пожалуйста.

Может, потому, что он сказал это тихо и вежливо, кассир несколько опешил.

— А метрики у него есть? — с вызовом сказал он.

— Есть. Есть и метрики и все документы! — воскликнул человек. — Да нам ведь только узнать, потому

что, если надо по закону, мы, конечно, всегда с удовольствием...

— Когда вы брали билеты? — сухо спросил парень, не слушая.

— Утром брали. Вот все едем и думаем... Они, конечно, если начнут сдирать с каждого...

— Дайте метрики. Кассир, верните деньги.

Кассир засуетился, поспешно вернул рубль, сердито искал мелочь. Всклокоченный человек, жаждавший долгого, справедливого скандала, тоже остался недоволен, комкал рубль, словно не зная, что с ним делать. А необычный пассажир отвернулся и ушел на верхнюю палубу. Там его никто больше не тревожил, он сел один на ветру, без шапки, подняв воротник плаща, и не двигался, безучастно глядя вперед.

Проплывали дикие, покрытые тайгой сопки, и чем дальше к горизонту, тем более казались они лиловыми. Они стояли вплотную одна к одной, между ними не было ни хода, ни просвета, и сколько видел глаз, впереди были все такие же безнадежно однообразные, негостеприимные горы. В реку спускались разноцветные осыпи камней; с уступов изредка срывались и потом долго парили в воздухе коршуны.

Помощник капитана лениво переговаривался с рулевым:

— Ближе... Роман!

— У?

— Говорю, ближе. Пройдем, не дрейфь.

— Петь, а ты Маньку видал?

— Видал.

— Ну и что?

— Да... ругается...

Видно было, им скучно и грустно. Наверное, причелась дикая мутная речонка без баженков, без встречных. Сопки без просвета давят, гнетут, а ночные вахты тяжелы.

Пассажир стойко высидел на верхней палубе до вечера. Уж близко был Байкал, когда у села Никольского опять взорвался динамик, полетела на пристань чалка.

Он смешался с толпой пассажиров, сошел на берег, мимоходом спросил, как добраться до железнодорож-

ной станции Селенга, и направился к парому, легко неся чемодан.

Паром неподвижно стоял у берега — крепкий, просторный, сколоченный из двух барж с помостом поверх них. Хитроумное сооружение не имело мотора, оно держалось на якоре, заброшенном далеко вверх по течению, и трос поддерживался расставленными по реке лодками. Течение, ударяя в косо поставленные рули, носит такой паром от берега к берегу, как маятник.

У румпеля на куче соломы, подстелив под бока тулуп, грелся в последних лучах солнца паромщик — босой, нечесаный, обрюзгший, словно после пьянки. Рядом копался в мешке дряхлый старик с густой, аккуратно расчесанной бородой. После появления парня с чемоданом старик немного подождал, потом сказал:

— Здравствуйте.

— Здрс. . .

— На станцию?

— Мг.

— Скоро автобус.

— Какой?

— Курсовой.

— Что, он тут ходит? — несколько оживился парень.

— А как же, к поезду. А вы пешком? Теперь нельзя. . . ох-хо-хо. . . обгонит. Я вот тоже жду, катаюсь туда-сюда от скуки.

Приехал грузовик с бревнами. Баржи осели и заскрипели под его весом. Шофер молча сам убрал подъездные мостки, паромщик лениво толкнул ногой румпель, и паром поплыл в тишине, только журчала вода под рулями.

Где-то на середине реки старик вдруг вздохнул:

— Дивен мир. . . Семьдесят лет живу и все дивлюсь.

Ему никто не ответил, он добавил:

— Был молодой, как вы, — не понимал. Не здешние вы, проезжий?

— Нет.

— Ну да. Здешнего человека сразу отличишь. Цвет лица другой. Климат меняет человека, ломает, можно сказать, одному силу даст, а кто убоится — сломит. . .

Тут паром ударился о левобережный причал; шофер завел мотор, и, едва он осторожно съехал, паромщик все так же молча пихнул румпель, посудина качнулась и поплыла обратно в той же гнетущей тишине.

Старик кряхтел, встряхивал мешок, бормотал себе под нос, наконец не выдержал и на середине реки снова сказал:

— И люди — дивные. В семьдесят годов понял, дурак. А на что теперь это понятие? Вот — черемшу собираю внучатам, так-то, слышь...

— А?

— Черемшу, говорю. Вы, извиняюсь, проезжий, кушали черемшу? Вроде бы травка немудрая, а кушать ее — это у нас первейшее дело.

— Зачем? — спросил парень без интереса, лишь бы что-то сказать.

— А иначе здоровым не быть. От болезни помогает, сок в ней такой. Вот, говорю, мне семь десятков, а зубы все целы. Во... а-а...

Он открыл рот и провел пальцем по действительно здоровым, белым зубам. Паромщик привстал на локте, заглянул деду в рот, хмыкнул и повалился на свой тулуп.

— От черемши? — спросил парень недоверчиво.

— От нее, милый.

— Как же ее... едят?

— Да всяко: и с хлебушком и так. Насекут, насылят, в кадку, значит... Оно как чесночок, покушайте.

Он протянул два продолговатых листика. Парень пожевал, выплюнул.

— Жить на свете — знать надо... — кряхтел старик, укладывая мешок. — Везде, братцы, по-разному. Диво дивное. Там она так, а там этак...

На эту мудрость паромщик звучно икнул и насмешливо процедил:

— Всюду хороша...

— Бывает, милый, все бывает.

— Ты, дед, лучше скажи, правду грят, ты в Польше был?

— Помотался я, сынок, по свету. Был молодой — искал счастья, долго искал. Ох, долго я походил...

— Гм, — усмехнулся паромщик. — До чего ж ты доходишься, любопытно?

— До Селенги.

— Ну?

— Вот и «ну».

— Тут счастье, что ль?

— Да как тебе сказать — и тут и везде. Не от земли счастье, а от человека, на земле живущего. Я, милый, долго искал, и все Кавказы и Украйны исходил... Как перемахнулся сюда, как зажился — так, кажется, ничего мне и не надо лучшего, и милей матушки Селенги нет... Вот так.

— Любишь Селенгу, что ль?

— Люблю.

— Ай, батя, остряк!

— Глупый ты, зеленый.

— Там счастье, батя, где нас нет.

— Вот глупый ты. Ту пословицу лежебок вроде тебя выдумал. Ты сам погляди: али не чудо земля? Али люди — не чудо? Хожу, изумляюсь: как-то был молодым и ничего того вокруг себя не видел? Только бы подышать... только бы пожить боле!

— Помирать тебе пора.

— Не хочу.

— А надо. Ты уж, дед, как старый пень.

— Не хочу.

Паром дошел до правого причала, грузно ударившись о него, и приятная беседа оборвалась. Паромщик, не вставая, бросил веревочную петлю на кнехт, но не попал, она плюхнулась в воду. Он лежал на тулупе, бросал, выбирал из воды и опять бросал. Проще было встать и подойти, но он упрямо кидал раз восемь, пока случайно не шопал, — и тогда откинулся на спину и уставился в небо.

В воздухе послышался нарастающий свист. Вдруг низко над головами пролетела стая уток, даже казалось, обдало воздухом.

— А! Дома двустволочка-то! — встрепенулся дед.

— Ай охотишься еще?

— У нас все охотники, — строго ответил дед, обращаясь почему-то не к паромщику, а к парню. — Я-то

теперь уж разве на белку, глухаря, бывает. Ну, про утку, конечно, не говорю. Столько тут ее, и на мой век хватит, и на твой, и внукам твоим. Что ни говори, весьма богатые места. Рыбы одной! А ягод у нас! Поверишь, иной раз идешь — под чувяками хлюстит. Знаете, ведь люди врут, что в Сибири плохо — морозы да комары!.. А вы видели где в наших местах комара? Нет? Вот те и комары. Это где в глуби, а у нас нет. Морозы! Да я в жизни никогда так не замерзал, как однажды под Смоленском. Морозы! Знать надо, как жить, — вот что говорю. Немудрящему и в раю плохо — в ложке воды утопнет. Я вам еще не надоел? Тогда послушайте, я вам такой случай расскажу, что и в книжке не найдешь.

Живет в нашей деревне учитель, давно живет, уж годов десять. Родом он дальний, из Сочи. Слыхали, курорт? Вот-вот, оттуда. Там родился, там жил, учительствовал, имел квартиру. Что лучше для человека? Курорт да и курорт. И вот он заболел. Доктора велют уезжать. «Вам, говорят, нужно сменить климат». Не поверил. Где же климат лучше, чем в Сочи? Вся Россия, почитай, едет в Сочи лечиться да поправляться. А ему все хуже и хуже. Пришло как с ножом к горлу: али помирай, али уезжай. И он уехал. На Селенгу, сюда. И что бы ты думал? Выздоровел. Сопки тут, высоко, сухо, воздух крепкий — вот ему и хорошо. Выздоровел, зубы только потерял. Черемшу не ел, не верил. Ну, без зубов и остался. Теперь, говорит, меня ни за какие коврижки обратно не заманишь. Живет весело, книг пропасть, газеты, в Москву летом ездит, историю Селенги пишёт. Дай бог. Может, люди почитают, узнают, меньше бояться будут.

У нас все есть, людей мало. Веришь ли, сынок, мы ведь избы углем топим. Ходим в яму, ковыряем, и такая тебе жара — что паровоз. Приезжали инженеры, записывали; посмотрят, да и уедут. Уголь есть, а копать некому. Жаль. Чего только нет: железо, говорят, золото, каменья драгоценные...

Старик махнул рукой.

— Да, заманишь их, горлохватов! — вдруг злобно сказал паромщик. — Намедни один проезжал. Я, grit, такую работенку ищу, чтоб три с половиной сотни в ме-

сяц, не мене. Кто ж ты таков, спрашиваю. Я есть, отвечает, печник и бегу из Харауза в Читу. Тьфу!

— Бывает, все бывает, — согласился старик. — У нас самих вон из соседнего колхоза не дале как вчера ветеринар убег.

— Кто-о?

— Говорю: ветеринар убег.

— Поймали?

— Куда!

— Погодь, какой же это?

— Я его, милый, поглядеть-то не успел. Знаю только то, что люди говорят. Московский, говорят. Лучше б их не присылали, хлопоты с ними.

— Что ж ему, мало платили, подлецу?

— Нет, не прижился.

— Ха! — удовлетворенно развалился паромщик. — Кишка тонка?

— Ну что ж, все бывает, не смог человек. Я вот и говорю: у нас жить — знать надо. Незнающему и старому туго, а оно, вишь ли, было молоденькое, прямо из Москвы, с ученья, куда уж тут... Таковские они, нежные. Вот и испугалось, глушое.

— Как же они опять без ветеринара? — почесался паромщик.

— Даст бог, может, другого пришлют.

— А до той поры скотина подыхай?

— Все бывает... Конечно, смех один. Поверите, — повернулся дед к парню, — сколько там, значит, было радости-то: из самого главного института ветеринар! В кои веки дождались путного человека. Избу ему, дровишек на зиму, баба обед готовила, носились с ним, как с дитем. И жил-то, говорят, вначале ничего, приветливый такой, веселый, драмкружок организовал, девушки там уж все по нему сохли; скот стал выправлять, систему там по-научному лечению. И вдруг затосковал. Захотелось ему винограду.

— Чего ль? — изумленно спросил паромщик и сел.

— Винограду. Видишь ли, коли живешь на Кавказе, глядеть на него не желаешь, а тут вот... Бывает, милый. «Ничего, говорит, так не хочу, как винограду, сто рублей отдал бы за горсть».

— Гляди ж ты! — удивился паромщик. — Аль он его в Москве пудами жрал?

— Кто его знает, милый... Я так думаю, не столь ему винограду хотелось, сколь заскучал он... Понимаешь? Написал он маме письмо: «Купил я тут, мама, два стакана яблок, и вышло в них двадцать штук...» А мать ему отвечает: «Дорогой Сашенька, хорошо, что ты яблоки кушаешь. А только одного я не пойму: какие-такие у вас стаканы, если в два стакана двадцать яблок входит?»

Паромщик засмеялся, закашлялся и перекатился на другой бок. Парень с недоумением взглянул на него, на старика.

— А яблоки у вас действительно маленькие, — сказал он.

— Маленькие... — подтвердил старик. — Дичок. Все выводят, выводят, да никак не разведут, мороз шибко губит. Это верно, маленькие...

Парень отвернулся, достал папироску, закурил — и так и остался спиной к собеседникам, устало опустив веки.

Селенга журчала, булькала под помостом. С плеса бомбой сорвался, захлопал крыльями крупный селезень. В деревне пели петухи.

— К дождю, что ли... — пробормотал старик. — Птица перемену чуёт.

— Дура твоя птица, — сказал паромщик. — Хошь, я среди дня петухом пропою, они все и заорут.

— А ты пробовал, что ли? — спросил старик.

— Пробовал.

— Способный ты, как я погляжу.

— Ну, а как же ветеринар-то? — лениво напомнил паромщик. — Как он, стервец, бежал?

— Обнаковенно и убежал. Затосковал. Все из-за винограда. «Рыбы, говорит, видеть не могу, омуля не хочу, дичи самой свежей не надо, молока не желаю — винограду дай». По нас с тобою, хоть бы его и вовсе не было. Ну, уж бог их знает, привозят, верно, в Улан-Удэ... Да не в том, конечно, дело. Сам понимаешь: росло оно в городе, на всем готовом, подай, прими, земли не нюхало — и акурат его в далекие края. Нету тебе морожена, нету тебе театра, нету винограда, нету

мамы... Просился, чтоб уволили, куда там — год ждать, пока замену найдут; он собрался вчерась ночью, говорит хозяйке: «на вызов». И уехал. А куда ж на вызов, коли и бельишко и книжки забрал. В сей час уж небось в мягком вагоне за Иркутском чешет. Вот так.

— Лаялись небось?

— Что толку лаяться. Впору в затылке скрестись.

— Скотину бы уж пожалел, сукин сын, — выругался паромщик. — Уж попался бы он мне — в реку бы пихнул. Хошь ехать? Плыви сам как знаешь, паром не для тебя строен.

— Что ж вы печника не спихнули? — вдруг насмешливо спросил парень, не оборачиваясь.

Паромщик недоуменно посмотрел на него. Сплюнул, соображая, как к этому отнестись.

— А твое какое дело?

— Да нет, никакое, — лениво ответил парень и вдруг взволнованно, с болью сказал, повернувшись к старику: — Вы знаете, мне трудно судить, но человеку должно быть очень тяжело здесь, если он вырос в городе.

— Еще бы! Ресторантов нету! — зло фыркнул все еще уязвленный паромщик.

Старик вздохнул:

— Тяжело, сынок. Это верно, что тяжело. Вот я думаю: вы ученый ай инспектор какой, вы приехали и уехали, а ветеринар-то на месте сиди. Народ грубый. Он добрый-то, народ, душа у него ласковая, но грубый, трудный то есть. С людьми не всяк умеет сходитьсь. Да и то правда: рос-рос в городе, а тут хвосты крути. Ой-ой, жить у нас ой как знать надо!

— Они бы взяли да в самой Москве и написали! — сказал паромщик.

— Написать можно, да только что пользы? На аркане ведь не приведешь, а привел бы — не удержишь. Уж если человек испугался, тут бумагой не поможешь. Страх — дело сутубое.

— Вы думаете, он сбежал от страха? — спросил парень.

— От страха, сынок, от страха. Люди жить не умеют, а учиться боятся. Ну, думает, заехал я на край света, теперь пропаду. Я ведь не осуждаю, человек —

он труслив всегда есть, и ветеринар такой. Только жаль, что тому страху мы волю даем. Иной раз выдержать, в люди выйти, а он убоился. Коль же в молодости трудной жизни убоился, то в старости, гляди, и совсем худой человек будет. Так бывает.

Парень встал и принялся нервно прохаживаться по помосту.

— Вы знаете, — сказал он, напряженно стараясь что-то выразить, — я вот... ездил, видел... ведь действительно трудно. Особенно молодым, оттуда... Понимаете, душно! Романтика первых дней слетает, а остается будничное, мрак, безнадежность. Где-то шумит жизнь, а тут действительно хвосты, одни хвосты, сплошная дичь, в магазине бритвенного лезвия не найдешь... Нет, я не то хочу сказать, а...

— То, сынок, то, — кивнул головой старик.

— Ресторантов нету! — гаркнул паромщик, смакуя полюбившуюся фразу; старик досадливо отмахнулся.

— Верно, сынок мой, верно. Коли хочешь, я тебе отвечу. Может, не то скажу, не обессудь... А только подумай: ведь так-то всюду. Жизнь-то, она везде шумит; где мы дышим, там и шумит. Только хлеб человеческий не легко достается, и об лучшей жизни человек в поте лица своего бьется везде, везде, мой сынок. Я очами рассмотрелся, а ты-то ведь ученый, ты знаешь и сам поболее моего... Душно будет человеку, душно и тяжело везде, коль очутится он одиноким, коль не найдет себя под широким небом. А находить-то надо? Хоть ох как широкое и неласковое порою небо-то. Ну, вот Москва, ну, Москва, и там находить надо?.. Ветеринару, к примеру, что делать в Москве? Аль зебров в зверинце лечить? И все одно ехать надо куда-то и трудиться. Не на той, так на другой Селенге себя искать, милый. Люди всюду есть, люди хорошие. Может, не все так уж образованные, а презирать их не надо. Где полюбишь ты людей, там, верно, и долю свою найдешь. Учитель наш — жаль, не поговорил с ним тот парнишка, — он бы ему порассказал лучше моего. Жизнь длинна, найти себя уж как надо. Горе тому, кто не найдет. И на Селенге горе, и в Москве, и в Польше...

— Ты, видать, и вправду нашел, — угрюмо сказал паромщик.

— А я пришел сюда годов тридцать тому. Поглядел: господи твоя воля, первозданная земля, и мир, и небеса, и земля твоя стала крестьянская, и леса твои, человеке. Иду по лесу — сердце поет, радость какая, богатство какое, для всех, для всех: руби — невырубишь, бей дичь — не выбьешь, лови рыбу — не выловишь, мед собирай — не выберешь, живи, человеке, дыши, радуйся, открывай землю для счастья. И так позабыл я скучать, прожил тридцать годов и еще думаю вдвое прожить, потому и здоровее, чем в Сибири, нигде жизни нету... Вот так.

Ну, теперь иначе. Поглядишь, дивно... Теперь, говорят, хотят на звезды добираться. Будто там тоже земли, вроде наших. А подумал ты, каково им будет лететь вдале от матери-земли, это уж не Сибирь, что на аэроплан — фить и дома... И так было, так будет... Магеллан-то вокрут света не побоялся поехать, и Ермак шел в Сибирь, не то что мы, дураки. Так было и будет... Так было и будет.

Парень посмотрел на старика изумленным взглядом. Его поразило, что тот упомянул Магеллана. Но в глазах его вспыхнул прежний холодный, недружелюбный огонек, он нетерпеливо спросил:

— Где же ваш автобус? Будет ли он?

— Должен быть, пора, — сказал дед. — Да вы не тревожьтесь, придет.

— Слышь, дед, — шевельнулся паромщик. — Ай про звезды наврал?

— До чего ты темный человек, — вздохнул дед. — А молодой...

Паромщик ухмыльнулся:

— Запрут ветеринара на звезды, тамошних коров лечить. Во где он вззоет! Вззоет! А?

Он расхохотался от неожиданности этой пришедшей ему в башку мысли и все повторял, захлебываясь:

— Ой, не могу... А драпануть-то некуда! Некуда драпануть-то! Не могу...

— Чего зубы оскалил, — осуждающе сказал старик. — И ему небось тяжело будет.

Он выждал, пока паромщик кончит хохотать, и вдруг накинулся на него:

— А ты что думаешь! В таких-то людях соль, не

в тех, которые шастают по закуткам, где теплее да мягче. Да! Ты, здоровый боров, разлежся, правило прихачешь, я в твои годы кули пятипудовые таскал!.. Тоже — на легкое позарился, эх ты, тьфу!..

— Я больной! — воскликнул паромщик.

— Больно-ой? Да когда ж ты заболел, паразит, не с перепоею ли? Да я же тебя знаю, пройду!..

— Дед! Дед! Ты что прицепился, дотошный! — паромщик начал не на шутку разъяряться. — Эй, ты меня не касайся!

Но в этот момент, к счастью, послышался гул, из-за пригорка вылетел автобус в облаках пыли и, подъехав к воде, стал. Из него посыпалось такое множество людей, что даже странно было, как они все там умещались. Автобус должен был переправляться порожний, без пассажиров, и люди были рады размяться, потянулся дым от многих папирос, кто-то растянул меха шисклявой гармошки.

Дед встретил кума, и тотчас пошли восклицания, расспросы. На некоторое время берега реки стали шумными, многолюдными.

Злой паромщик, обиженно сопя, долго переправлял всех, собрал по копейке, люди полезли в машину, втиснулся и дед со своим мешком. Автобус помесил колесами прибрежный ил и покарабкался в горы.

Дед вспомнил о собеседнике, только когда порядком отъехали.

— Царица небесная, а где парнишка-то? Остался!

В заднее окно машины еще виден был паром, который шел порожняком на тот берег. На нем сидела одинокая серая фигурка на чемоданчике.

Дед чего-то испугался, у него защемило сердце. Странная, нелепая догадка мелькнула у него в голове.

— Кум, послушь-ка, кум! — крикнул он через сиденье. — Ведь у вас ветеринар ушел!

— Ну?

— А какой он был с лица?

— Рыжий, — ответил кум, — в веснушках. А что?

— Не тот... — пробормотал дед. — Кто ж он такой?..

Но так ничего и не понял.



ИЛЬЯ ЛУКИЧ И ТОНЬКА

Илья Лукич был одинок и утрюм. Если не считать okazji, когда удавалось раздавить «сучок» — как называли шоферы четвертинку, — то он был и неразговорчив.

Совсем седой в пятьдесят пять лет, он казался стариком и выглядел чужим, случайным человеком среди молодежи общежития, где обитал.

У него и дружок был такой же старый и утрюмый. Иногда дружок приходил в гости. Занимали стол, из карманов появлялись на свет божий поллитровка, вяленая вобла, и завязывалась неторопливая, одним шоферам понятная беседа о баллонах, мостах, диферах и других увлекательных вещах.

И ребята слышали однажды, как Илья Лукич рас-

сказывал, что он посидел под Ленинградом в сорок втором году (он тогда водил «студебеккер»), и там у него в одну зиму перемерзла вся большая семья. На замечание дружка, что, дескать, надо бы обзавестись новой, Илья Лукич отозвался неопределенно. Видимо, он сам на все это давно махнул рукой.

В одну из ночей Илью Лукича послали возить бетон в конец эстакады.

Это было сложное сооружение рядом с плотиной, похожее на шоссеиный мост и высокое, как семиэтажный дом. Плотина была усеяна огнями, там стояли стук и звон, трещала и слепила электросварка. А на эстакаде было пустынно, фантастически раскорячились уходящие в небо порталные краны и гулял ветер.

Старенький скрипящий и дребезжащий самосвал Илья Лукича старательно полз под кран, сваливал бетон в бадью; кран сигналил, лягал и на гудящих тросах нес бадью к огням, куда-то ее там впихивал, кто-то ее там открывал, во всяком случае она возвращалась порожняя.

На слабо освещенной эстакаде дежурила только одна девушка-бетонщица, деловитая и злая. Не успевал Илья Лукич вывалить бетон, как она стучала лопатой:

— Пошел, шофер, что застрял, черт! Эй, крановщик, ви-и-ира!

Илья Лукич разворачивался и ехал на бетонный завод. На завод — на эстакаду, на завод — на эстакаду.

Он отлично понимал, что, если соответственно обойтись с этой девчонкой, она в конце концов припишет ему несколько ходок. Но она ему не нравилась. Вместо того чтобы ладить, он с каждой поездкой все больше раздражался на нее.

Бывают люди, которые несимпатичны с первого взгляда, и для Илья Лукича таких людей с каждым годом становилось все больше.

Чего она спешит? Чего она вертится, словно червяк в ней сидит? Наверное, работает без году неделю, выслуживается, видите ли. «Давай!» «Пошел!»

На пятнадцатом рейсе он вышел из кабины и мрачно спросил:

— Кузов чистить я, что ли, буду?

— А он чистый!

— Вот я т-те дам чистый! А по углам?

Приемщица, враждебно сверкнув глазами, полезла в кузов и долго ковыряла лопатой налипший по углам бетон. А шофер стоял, курил и зорко следил за ней.

Она была совсем молоденькая, лет восемнадцать. В забрызганном с ног до головы дырявом комбинезоне, резиновых, как боты, сапожищах, в которых у бетонщиков вечно потеют и преют ноги, она сзади чем-то напоминала медведя.

А спереди из-под платка смотрело полненькое, румяное широкоскулое личико, и нос курносый, губы обветренные, а волосы светлые-светлые, совсем белые, словно выцвели тут, на ветрах, солнцепеках и дождях.

Она слезла, запыхавшаяся, разгоряченная, с сердцем крикнула:

— Ну, чего раздymился? Давай съезжай! Пошел!

Крановщик откуда-то из поднебесной выси, будто сговорившись с ней, задудел сигналом: давай, мол, убирайся к чертям, не держи бадью!

Илья Лукич, умышленно не торопясь, растоптал сапогом окурки, проверил задний борт, постучал под крючьями и только тогда полез в кабину. Он уловил то, чего ждал, — ненавидящий, бессильный взгляд бетонщицы — и довольно улыбнулся, потому что с плиты истошно вопили:

— Тонька-а, давай бетон!

А старик еще минуты две заводил мотор, он у него то пыхал, то умолкал, и на бетонный завод ему ехалось вроде как бы веселее.

С каждым рейсом курносая Тонька нервничала сильнее и бранила Илью Лукича на чем свет стоит. Она все больше уставала, а он требовал чистить кузов. Это было его законное право, и она кряхтя карабкалась в кузов, долбила, долбила бетон. Чем больше его налипало, тем, казалось, приятнее было старику. Выйдешь, поругаешься, покуришь — глядишь, и ночь скорее пройдет.

Говоря откровенно, ему, может, и не хотелось, чтобы девчонка так часто чистила. Пустая работа: все равно налипнет. После смены хорошо прочистил —

и достаточно. Но вот раз она такая молодая и старательная — пусть пыхтит. Ему только хотелось, чтобы она кричала:

— Паразит! Что я тебе, лошадь, за каждым разом чистить?

Она кричала, чистила, а потом с сердцем швыряла лопату на асфальт:

— Ну, восемьдесят восьмой, вредный какой попался! Пошел, давай съезжай!

Номер машины Ильи Лукича 09-88, и его никогда не называли по имени-отчеству, а так и кричали: «Восемьдесят восьмой, пошел давай!»

На двадцатой ходке заморосил дождь. По кабине жестко барабанили капли. Защелкал включенный «дворник». Сквозь дождь в лучах фар Ильи Лукич различил курносую Тоньку. Она пыталась спрятаться под единственным предметом на эстакаде — под бадьей. Но ветер тут гулял свободно, крутил и гонял водяные вихри. Платок с белесыми прядями уже прилип ко лбу девочки.

Илья Лукич вывалил бетон и уехал, на этот раз с особенным удовольствием ощутив преимущества своей работы: вот ему тепло в кабине, уютно, даже мягко. А на эстакаде в такой час — брр! — зябко.

Дождь усиливался. Приехав снова, Илья Лукич поискал глазами Тоньку и обнаружил, что она все сидит, съезжившись, под бадьей, притиснувшись к ее ледяным железным ребрам. Бадью почему-то еще не опорожнили, так бетон и стоял, поливаемый дождем.

Старик высунулся из кабины.

— Ну, чего?

— Брак сделали, — неохотно отозвалась Тонька, не двигаясь. — Постой чуток, сейчас исправят.

— Ага! Ну вот... поспешишь — людей насмешишь, — торжествующе объявил Илья Лукич, словно он предсказывал такой оборот дела, но удовлетворения не почувствовал. Наоборот, ему захотелось поворчать: «Да! С такими работниками, туды его в печенки, и тридцати ходок не сделаешь. Заработаешь!..» Он сплюнул и грубо крикнул на Тоньку: — Ну, что обнялась с бадьей-то, милый тебе, что ли? Иди в кабину.

Тонька вытерла ладонями воду с лица и послушно полезла в кабину. Мокрая, она уже вызывала сочувствие старика.

Он поднял стекло, закурил и, наполнив тесную кабину клубами махорочного дыма, задумался. Шуршал по крыше дождь, на плотине переругивались раздраженные голоса и по-прежнему сверкали огни сварки.

Так прошло минут пятнадцать. Потом кто-то с плотины стал кричать:

— Гурминиха-а! Тонька! Отошли машину, тут на час делов!

— Что, что? — удивленно пробормотал старик.

— Поезжайте на другой участок, — растерянно сказала девушка.

— Ку-да?

— На седьмой. Я вам отмечу.

— Здравствуйте! Седьмой еще во втором часу закончил.

— Ну а я-то что сделаю?

— Что, что! А вот и будем стоять. Мне куда бетон девать? Али в канаву вывалить?

— Схватится в кузове...

— Ничего. Авось под дождичком не схватится. Не первый год вожу.

С плотины больше не кричали. Тоня вздохнула и уселась поудобнее: ей тоже не хотелось, чтобы машина ушла, не хотелось расставаться с уютной кабиной. Она устало закрыла глаза.

Но Илья Лукич, наоборот, все оживлялся. Он поглядел на нее нерешительно.

— Гм... Так как, говоришь, фамилия твоя?

— Гурминова.

— Гурминова? Гм... Вот дела... И я Гурминов!

Это было сказано почти торжественно.

Тоня приоткрыла глаза, сонно посмотрела на Илью Лукича и снова задремала.

— Странно... — бормотал старик. — Фамилия-то не частая.

Дождь прекратился, тучи разорвались, и оказалось, что уже давно начался рассвет, да его не было заметно за тучами. В разрыве небо было холодное, серое. Все предметы вокруг четко выступили: бадья с бетоном, на

котором лужицами собралась вода, и мокрая лопата с липкой ручкой, и замерший колосс — порталный кран.

— А может... мы родственники? — тихо спросил Илья Лукич, и сиденье под ним закричало. — Ты откуда сама?

— Не-е... — промычала Тоня. — Я из Бодайбо.

— Мда. А я из Пензы. Ну, а деды твои откуда? Небось не всегда в Бодайбо жили?

— Жили. Всегда.

— Что значит всегда? А до Ермака-то не жили! Пришли откуда-то? Может, с Пензенской губернии? Не слышала, а?

— Не-ет. Не спрашивала.

— А ты бы спросила. Слышь, Тонька, спроси. У матери спроси и отца, они должны знать.

— Нет.

— Что нет? — рассердился старик.

— Да нет матери и отца у меня.

— Фу-ты, — насушился Илья Лукич. — Где ж они?

— Отец на войне, а мать в позапрошлом году померла.

— И ты что ж, одна?

— Одна.

— Эх, ты!..

— А что?

— Да ничего. Вот я тоже один.

Сиденье опять закричало. Но Тоню вдруг разморил сон. Она кивала, кивала головой и пыталась поудобнее устроиться.

— Ты сядь-ка вот так, — ласково пробормотал Илья Лукич, отодвигаясь в самый угол. — Да и прикорми. Постой, у меня вот тужурка есть... тужурка есть...

Он вытащил откуда-то пряжную, насквозь промасленную тужурку.

Тоня заснула. А старик снова достал кiset, свернул самокрутку, но покосился на девушку и не стал курить.

Рассветало все больше. Появились на небе первые нежные розовые полосы. Блестел вымытый дождем на-

стил эстакады, и лопата все так же валялась подле бадьи и отражалась в луже. Илья Лукич украдкой разглядывал девушку.

«Дитя совсем. Промокла, бедняга, так и спит. Красивая сама. А руки рабочие, изуродованные: попробуйка, помахай лопатой, а там вибратором, а там молотком, ломом... И чего ж понесло тебя в бетонщицы?.. Волосы-то как лен, а нос облез».

Голова ее медленно сползала по спинке сиденья и наконец уперлась в бок Илье Лукичу. Сонная, эта девочка действительно была похожа на ребенка: пухлые губы, надутые щеки.

Шофер сидел, боясь пошелохнуться, опасаясь вздохнуть или кашлянуть. И вдруг смутно-смутно почудилось ему далекое, забытое, похожее на неправду: его дети, бесцветные торчащие волосенки и запах пеленок, сохнувших на батареях парового отопления. От неудобной позы закололо в сердце. Илья Лукич не мог выпрямиться и вместе с тем готов был век так сидеть, не двигаться и слышать рядом ровное здоровое дыхание девочки, словно родной, словно дочки ему.

Он уже не мог понять, почему он обижал ее и зачем ему надо было браниться. Не мог понять, почему вообще люди спешат браниться и враждовать так часто, когда все может быть иначе, лучше...

Прошло полчаса. Может быть, меньше, может быть, больше. Для Ильи Лукича время остановилось. И только небосклон бесшумно менялся, на нем разыгрывалось невиданное зрелище солнечного торжества. Где-то протяжно и визгливо загудели гудки. На водосливе плотники с грохотом обрушили старую опалубку, трещали внизу тракторы, и звякали где-то по железу: бам, бам-м.

— Тонька-а! Шо-фе-ер! Давай бетон!

Илья Лукич вздрогнул.

Не подававший признаков жизни кран вдруг лягнул и засигналил. Илья Лукич застыл над спящей, как скупой над сокровищем.

Но Тоня сквозь сон услышала, встряхнулась, поднялась.

— Что? Подавать? — испуганно спросила она охрип-

шим ото сна голосом, выпрыгнула, не захлопнула еще дверцу, а уже кричала:

— Ви-ра-а!

— Эй, вали с ходу две! — перегнувшись над опалубкой, махал издали мастер. — Вали вторую, Тонька!

Тоня засуетилась:

— Шофер, подъезжай, вали! Давай!

Илья Лукич послушно, как сонный, подогнал машину, опрокинул кузов, но бетон все-таки слежался и не вывалился, а повис пустым тестом над бадьей.

Тоня ахнула.

Тогда старик взял лопату и полез наверх.

— Да не надо, я сама... Шофер... ой, как вас звать, дяденька? Илья Лукич? Давайте я, дяденька Илья Лукич!

— Ничего, племянница, — пробурчал Илья Лукич. — Ты всю ночь работала. А я вот замерз. Да, замерз старик...

Проклятое сердце его опять закололо, а он выпрямлялся, глубоко вдыхал — и долбил, долбил, пока не выгреб весь бетон.

Стараясь не подать виду, что он задыхается, Илья Лукич спокойно сел в кабину, отметил в путевке ходку и медленно тронул по мокрому и чистому, словно вымытому старательной хозяйкой, настилу.

Он думал, что Тоня ничего не заметила. А она, оставшись одна у крана, растерянно держала лопату и долго смотрела вслед старенькому грузовичку.



МАША

Воронов работал первую неделю и друзьями еще не обзавелся. Он жил в доме молодых специалистов в одной комнате с женатым инженером Илюшей Вагнером.

В этой комнате с полосатыми обоями кроме двух коек имелись стул, стол, графин, в углу — куча носков и чертежей.

Окно выходило прямо на строительную площадку; по ночам прохот бульдозеров в котлованах не давал инженерам спать; дрожали кровати, и отблески фар метались по потолку.

Илюша Вагнер ожидал квартиру, чтобы выписать жену. А пока приколот на голую стену фотографию весело хохочущей толстушки; валяясь на кровати, смотрел на нее сквозь рыжие очки с очень сильными стеклами и дымил, как паровоз.

Он был тощ, нескладно длинен, с поповски долгими выгоревшими волосами, умел часами молчать, полистывая справочник арматуры.

Первые дни Воронов пытался с ним беседовать, рассказывал какой-нибудь забавный случай. Илюша Вагнер внимательно, дружелюбно слушал, трогательно хлопал веками за сильными стеклами очков и изредка тихо произносил:

— Да... да... удивительно... да!

Илюша был симпатичен Воронову своей беспомощной непрактичностью; казалось, он был безобиден, как ребенок. Но все же Воронов заскучал. Вечера в этом раскинутом на голом месте таборе, где не имелось даже клуба, проходили томительно.

Наконец прибыл контейнер с мотоциклом.

Воронов втащил вонючую машину в общий коридор, два вечера протирал и смазывал разложенные на газетах части, наполнив бензиновым запахом весь дом, а на третий вечер укатил и вернулся за полночь.

Он рассказал Илюше Вагнеру, что был в степи, заезжал в Старый Оскол и другие разбросанные вокруг строительства села, где живут рабочие, и там у них весело, есть танцы, бывает кино; а степь полна полыни и валунов, дороги же плохие.

Днем оба работали начальниками небольших смежных участков. Забот хватало; все только разворачивалось. Утром со всех сторон горизонта ползли из сел фургоны-грузовики, из них высаживались толпы каменщиков, бетонщиков, арматурщиков, заполняли котлованы, строили фундаменты. В подмогу столовой дымилась полевые кухни; цистерна развозила по участкам воду. Штабеля досок, железо и разрытая земля. Лишь к вечеру, когда вся эта шумная и беспокойная орда сворачивалась и уезжала в фургонах, становилось относительно пусто и только стрекотали бульдозеры.

Может, степные звезды или наплывавшие волнами душные запахи, а скорее всего молодость не давали Воронову покоя по вечерам. Какая-то томительная грусть, неопределенные мысли заполняли его. Он завозил мотоцикл и звал Вагнера.

Но тому вечно нужно было посмотреть на завтра

проекты или исправить график. Воронов полагал, что нужно уметь за день выполнить всю работу, а вечером отдыхать. Он махал рукой и уезжал в Старый Оскол. Там он сидел, покуривая, на шумной танцплощадке, толковал с рабочими о прогрессивке, о нарядах, изредка плохо танцевал.

Там он познакомился с Машей.

Он всегда удивлялся, как много энергии у этих ребят. Большинство приехало по путевкам комсомола. Протрястись утром двадцать километров в фургоне на стройку, двадцать обратно после тяжелого рабочего дня — и еще танцевать до полуночи! Они сами выделяли следить за порядком дежурных, которые с позором выводили нетрезвых; в гармонистах недостатка не было, они сменялись, наигрывая без перерывов.

Было немало хорошеньких девушек, крепких, с жесткими от работы ладонями и сильными загорелыми ногами.

Склонный поэстетствовать, Воронов от нечего делать сравнивал их, придирчиво критиковал, отыскивая самую красивую. И нашел ее.

Она приходила танцевать не каждый вечер, но зато уж могла кружиться хоть три часа в каком-то радостном упоении. Воронов посмеивался про себя: для него танцы были всегда пустячным развлечением, но все же, когда ее не было, чувствовал досаду, сам того не понимая, ждал ее. Она сразу выделялась среди других, выделялась походкой, манерой танцевать с какой-то неуловимой, одной ей присущей грацией. Она была очень тоненькая, как бы совсем еще девочка, слишком нежная, с темными небрежно причесанными волосами, приятным молочно-белым лобиком; у нее были красивые карие глаза и нежные детские губы. Парни приглашали ее наперебой.

Воронов смотрел-смотрел, не удержался и тоже пригласил.

То, что с ней танцует инженер, ей польстило; от волнения она стала спотыкаться, хотя обычно это был удел малоискусного Воронова. Она не смотрела на него,

а когда он заговорил, робко и почтительно отвечала «да», «нет».

И только тогда он с изумлением узнал, что она работает на его же собственном участке подсобницей у каменщиков и хорошо его знает, и он сам, должно быть, много раз видел ее в перепачканном комбинезоне на лесах, но не обращал внимания...

Они вышли из круга. Воронов предложил сесть, и она покорно согласилась. Они сели на бревнах. Парни, стесняясь подойти, перестали ее приглашать. А Воронову уже не хотелось танцевать, он удивленно, жадно смотрел на ее лицо, на ее губы, лоб, на худенькие, выступающие из разреза платья ключицы. Волосы ее пахли «Белой ночью», духами, которые выливал на платок и сам Воронов в лучшие времена.

Она сказала, что зовут ее Машей; она приехала с Черного моря, из Адлера, приехала в первые же дни по путевке, оставив мать и бросив школу. Здесь учится на каменщицу. Где живет? С девушками, целой коммунальной, в избе на том конце села. Почему не каждый день на танцах? Шьет вечерами. Да, она умеет, научилась у мамы, а здесь девчонки не отстают, она подрабатывает и посылает домой, потому что там осталось еще четверо карапузов.

«Черт знает что... Каменщица!.. — подумал Воронов, с сомнением глядя на ее худенькие руки. — Разрешают же детям идти в каменщики!..» А вслух назидательно сказал:

— Надо учиться дальше.

— Да... — согласилась она.

Он уловил в голосе оттенок грусти и спросил, почему же она не учится.

Этой зимой очень уставала, не потянула бы, а сейчас подала заявление, осенью пойдет, но боится. Чего? Да трудно же. Устает на работе, а тут еще шитье отнимает время.

— Но на танцы находится время? — улыбнулся Воронов.

— Ну, танцы — это отдых, — серьезно возразила она. — Ничего, я сильная. Вот если бы тратила все только на себя... Вот скоро уж брат встанет на ноги,

тогда вовсю буду учиться... Если бы вы только знали, как хочется порой!..

— Очень хочется?

— Да.

Воронов подумал, что следовало бы ее перевести на работу с большим окладом, что ли, или помочь по линии профсоюза, и вообще почувствовал теплое к ней уважение.

Он украдкой оглядел ее платье, соображая, что оно, должно быть, сшито своими руками, и нашел в его покрое неплохой вкус. Ему нравилось в ней все.

Но он был старше ее лет на семь-восемь и не мог забыть об этом, говорил с ней несколько наставительно и подбирал выражения попроще.

Ночь выдалась на диво: теплая, полная степных запахов. Воронов стал увлеченно рассказывать Маше о вычитанных в «Технике — молодежи» последних проектах звездолетов, потом о комбинате, о том, как будет выглядеть новый город.

Маша слушала с глубоким уважением. Сама охотно рассказала какую-то длинную, возмутительную историю со сплетнями вокруг комсомольского барака, существа которой Воронов так и не понял.

Но он и не старался понимать. У него немного кружилась голова, вздрагивало в груди, он изумленными глазами смотрел на Машу, пошел провожать ее. Они долго шли в темноте, он держал ее худенькую теплую руку, а у дома вдруг повернул к себе лицом — она тихо вскрикнула — и стал целовать прохладные детские губы. Она безвольно поддавалась, побледневшая, закрыл глаза.

Утром Илюша Вагнер едва разбудил своего соседа. Проснувшись, Воронов вскочил и, еще сонный, бросился к окну. Прибывали крытые грузовики, из них сыпались одинаковые, безликие фигурки; он пытался угадать, в котором фургоне приехала Маша, и понимал, что это невозможно.

В конторе он распорядился невпопад, скоропалительно закрыл летучку и пошел на леса. Его останавли-

вали на каждом шагу, лезли с жалобами, он отвечал, обещал и искал глазами Машу, пока не нашел. И тогда он понял, почему не замечал ее раньше.

Она мешала лопатой раствор. На ней были огромные стоптанные ботинки, простые штопанные чулки, какая-то грязная, заляпанная юбка, на руках — рваные рукавицы; бурый платок шаром укутывал голову (трогательные и героические усилия девочки на солнце и в пыли остаться красивой), и в этом наряде она была такой рядовой и серой, одной из тех, с кем обычно не было и надобности говорить начальнику. Он всегда толковал с бригадиром, а уж тот гонял подсобников.

Маша взглянула на него большими глазами с каким-то ужасом и скорее потушилась, усердно перемешивая раствор. Воронов поздоровался. Она едва слышно ответила, не поднимая головы. Он поговорил с бригадиром о кладке и ушел, недоумевая, что он нашел такого в этой подсобнице, но сердце у него колотилось: Маша вчерашняя и Маша сегодняшняя, в этом гадком буром платке до бровей, не увязывались.

Его все время тянуло к каменщикам, он ни на чем не мог сосредоточиться и не выдержал: после обеда пошел опять, чтобы проверить впечатление. Но не проверил: подсобники уехали с машиной на погрузку.

Вечером, наспех перекусив, он залил в бачок бензин и, не дожидаясь темноты, поехал в Старый Оскол. Ему пришлось долго сидеть на танцплощадке, пока собирался народ. Он уже думал, что Маша не придет, но она пришла; почти весь вечер он танцевал только с ней одной, потом провожал домой и не целовал, только смотрел на ее лоб, на ее детские губы, а у дома спросил:

— Я нравлюсь тебе? — И не знал, что же она ответит: «да», «нет» или «не знаю».

У него гулко бухало сердце, он заробел, как школьник. Маша подняла лицо, посмотрела на него испуганно-отчаянными глазами и горячо сказала шепотом:

— Очень!.. Очень!..

Он подумал, что ведь нужно теперь взять ее за руки и сказать: «Я люблю тебя». Он взял, больно сжал ее ладошки в своих и сказал:

— Я люблю тебя.

Они стали встречаться.

Бездна энергии проявилась неожиданно в Воронове. Он метеором носился по участку, гнал план, обскакивал других там, где нужно было вырвать материал или машины. Он тактично и ловко устроил так, что Маше дали помощь под видом премии, и воображал, что никто этого не заметил.

Ему нравился грохот бульдозеров по ночам, и он не особенно печалился, что Вагнер работал теперь в ночь, так что они почти не виделись, а общались записками, оставленными на столе.

Гуляя с Машей, он втайне гордился, что его видят с такой обаятельной девушкой; он бывал с ней на танцах, в кино, которое пускали пока в крохотном староскольском клубе.

Каждую пятницу с Почтовой площади будущего города уходил автобус на железнодорожную станцию, битком набитый людьми и вещами. Воронов с Машей ходили смотреть, он объяснил ей, что это уезжают дезертиры. Вглядываясь в их равнодушные, невыразительные лица, Маша и Воронов старались угадать, кто и почему бежит со стройки. Утром с тем же автобусом прибывали новички, они ехали и на попутных машинах, с тракторными поездами.

Проводив автобус, шли к Воронову домой, находили на гвозде ключ, а на столе — записку: «Я оставил тебе немного крабов, они стоят в окне. Вагнер», — и под взглядом хохочущей толстухи Воронов целовал Машу, ее глаза, руки, грубоватые маленькие руки с белесым, вьевшимся в поры налетом раствора, исколотые иголкой.

Как-то он проболел два дня. Хотя ничего особенного не было, Маша в ужасе принеслась, она накупила ему яблок, абрикосов, масла, шоколад «Мюкко», сидела у постели и смотрела испуганными, жалобными глазами, а он добродушно подшучивал над ней.

Его угнетала собственная манера говорить словно свысока и слегка поучительно. Воронов никак не мог избавиться от боязни, что Маше могут быть скучны его речи о технике, об искусстве или его делах. А когда он заговаривал о какой-либо взволновавшей его книге,

например о «Гойе» Фейхтвангера, она, краснея до корней волос, шептала:

— Я не читала...

И он вспоминал, что она ведь простая подсобница, что ей всего восемнадцать лет и нельзя от нее много требовать.

По воскресеньям, едва темнело, он ехал за ней в Старый Оскол, подъезжал к дому и сигналил под окном. Маша радостно выглядывала, махала рукой и выбегала. Обхватив его за плечи, усаживалась на заднее седло, и они мчались по неровным дорогам в степь. Фара выхватывала из темноты светлую колею, зайцы перебежали путь, а они неслись и неслись куда глаза глядят, сворачивали на целину и где-нибудь далеко-далеко, на неизвестном, пропахшем польнью кургане, останавливались, садились рядышком в траву, и Маша крепко прижималась щекой к его куртке.

Воронов нежно гладил ее голову, шею, маленькие уши, он был весь переполнен нежностью, радостно шептал, что, если бы у него было полмира, он, не задумываясь, подарил бы ей. А она верила, она была такая счастливая!

Скоро об увлечении молодого инженера знали все, кроме, пожалуй, одного Илюши Вагнера. Тот ничего не замечал. Товарищи с завистью оглядывались на Воронова, когда он с Машей проходил по улице или являлся на собрание.

Как-то вывалившись в грязи после сумасшедшей ночной поездки, Воронов схватил прокоптившегося над чертежами Илюшу Вагнера, затискал его и долго бессвязно-вдохновенно рассказывал ему все-все, как самому близкому другу.

Илюша Вагнер снял очки, протер их полой пиджака, надел, снова снял; близоруко хлопая веками, принялся в крайнем возбуждении шагать по комнате.

— Да! Да! Это чудесно! Это прекрасно! — сказал он взволнованно, стыдливо улыбаясь. — Да, мы поселимся обязательно вместе, да! В одном доме!

— Почему в одном доме? — не понял Воронов.

— Когда вы поженитесь... да! Я, Оленька, ты, Маша. Это удивительно!.. — Он не знал, куда девать очки, положил их на стол.

Воронов почему-то ни разу не задумался о женитьбе, и потому слова Вагнера его озадачили. Он сладостно вытянулся на постели.

— Да, это, конечно, было бы не плохо!.. Жаль только, что я не собираюсь жениться, Илюша, — сказал он.

— Как? — ахнул Вагнер, уставившись на него своими стеклами.

— Не вообще, конечно, жениться, но на Маше... — уточнил Воронов задумчиво.

Он почувствовал, что Вагнер своими неуместными словами как-то снизил восторженное настроение этого вечера.

— Мда... гм... да, да... — пробормотал Вагнер и принялся опять ходить по комнате.

В ту ночь они не спали до рассвета. Говорили о любви.

Говорил больше Воронов, а Илюша Вагнер слушал, вскакивал, хрустел пальцами.

Воронов рассказывал историю своей первой, большой и глубокой любви. Она началась еще на первом курсе института и кончилась нынешней весной, глупо и печально. Потому, собственно, Воронов и уехал на эту стройку, к черту на кулички. С тем было покончено навсегда. Но он знал, что впереди еще будет настоящее и прекрасное, будет, не может не быть. Жизнь и коротка и длинна. И интермедии в ней тоже нужны, иначе без них не было бы больших действий.

— А Маша? — спросил Вагнер. — Интермедия?

— Илюша, что же тебе еще не понятно? Ну, Маша, Маша! Милое, ласковое, беззаветное существо, все это так, ну и что же дальше? Не забудь, что она все-таки простая подсобница.

— Не забудь, что в свои восемнадцать лет ты не был и подсобником, ты сидел на шее папы! — неожиданно сердито фыркнул Илья и смутился.

— Ах, не в том дело, на шее, не на шее, а в том, что... ну, пойми ты... разные интеллектуальные

уровни, она совсем дитя, она не окончила даже десяти классов...

— Ты ее будешь повышать, — жалобно сказал Вагнер.

Воронов махнул рукой. Разговор оказался тягостный, ненужный, а ночь прошла, уже вставало в сизой дымке солнце. Он накрылся одеялом с головой, чтобы соснуть хоть полтора часа, но не мог уснуть, чувствовал в своих разглагольствованиях какую-то неуловимую фальшь, и это бесило его. Он никак не мог обнаружить этой фальши, все было верно. В самом деле, в те сокровенные минуты мечтаний, когда он заглядывал в свою будущую жизнь, разве Маша виделась ему женой? Да, жена должна быть красивой, безукоризненно красивой, но сверх того умной, образованной, волевой женщиной из интеллигентной семьи, — может быть, талантливая актриса, инженер, врач, все что угодно, но...

«Маша... Ведь она же обыкновенная!» — подумал он.

Вагнер тоже не спал, скрипел сеткой. Воронов вдруг разозлился на него и долго лежал, не шевелясь, пока не устал от мыслей и не отдался воспоминанию, как изумительно было этой ночью в степи, как пахли «Белой ночью» Машины волосы, как горячи были ее губы, как она повисла на нем, прощаясь, и заплакала зачем-то. «А что, если я вот возьму да и женюсь на ней? — озорно подумал он. — А ведь не найти лучшего, преданнейшего друга! Она будет преданнее собаки! Вагнер — Оля, Воронов — Маша. Гм... И все-таки как хороша, как богата и многогранна жизнь даже у черта на куличках!»

А город все рос да рос. Сдавались новые дома под общежития. Воронову достаточно было замолвить слово — и всю Машину «коммуна» переселили в первую очередь. Отпала нужда ездить в Старый Оскол.

Маша ничего не подозревала. Она думала, что просто им выпала такая удача; счастливо сообщив об этом, она пригласила на новоселье, и Воронов пошел к девушкам.

Маша нарядилась, волновалась и суетилась, у нее все летело из рук. Подруги поглядывали на него с жад-

ным, плохо скрываемым любопытством, чинно беседовали о разных умных вещах.

Налили всем по рюмочке портвейна (вот уже и рюмки у них есть!), а потом ели очень вкусный, такой аппетитный густой борщ, от которого Воронов просто опьянел. Он питался в столовой и уж забыл, что на свете возможны такие блюда.

«Готовит она хорошо, — подумал он с несколько иронической улыбкой. — Шьет сама... Невеста хоть куда!»

У них в комнате стояли четыре кровати, каждая с горкой подушечек мал мала меньше, под разными узорчатыми покрывалами, и Машина кровать была точно такая же, как у всех. Стены, как водится, уже были изукрашены бумажными цветами, фотографиями киноартистов и открытками с целующимися голубками — обязательной принадлежностью обывательского уюта. Воронов не придирался. На этажерке, впрочем, была горка книг: и учебники, и «Что нужно знать каменщику», и «Новый мир», и заложенный тетрадкой «Гойя» Фейхтвангера. Воронов изумился:

— Это твой?

— Я уже почти прочла... — смущенно прошептала Маша и, покраснев, скорее сунула ему конверт с фотографиями.

Воронов терпеть не мог, когда ему вручали для обозрения семейные альбомы со снимками, дорогими лишь тому, кто их хранит. Люди наивно полагают, что, если им интересна собственная персона на пляже в Алуште, значит, она должна обрадовать всех. Но Воронов, чтобы не обижать, стал рассматривать: вот Маше два месяца, Маша в первом классе, Маша с мамой и братьями, какой-то смуглый молоденький солдатик. Маша поспешно взяла фотографию солдата и положила за книги.

— Лучшие мои карточки разворовали, — весело сказала она. — Вот так смотрят-смотрят и унесут.

Воронову показалось, что он слышал эту фразу уже сто раз.

Когда девушки вышли на кухню мыть посуду, он отшвырнул конверт и страстно обнял Машу, поцеловал ее в губы и забыл обо всем. Она в этот день была

особенно хороша и желанна. Он растрепал ее прическу и обнимал так, что отлетела пуговка.

Уже прощаясь в подъезде, он спросил, кто тот смугленький солдат, которого она засунула за книги. Маша, глядя ему прямо в глаза, откровенно рассказала, что это ее бывший любимый, грузин Шалва. Когда он уходил в армию (было это еще в Адлере), он обещал любить только ее, и она обещала ждать. Он шлет ей письма, хочет приехать. Но теперь она перестала его ждать, написала ему все как есть, а он не поверил, все пишет, она не отвечает на письма, она никого на свете не любит, кроме него, единственного, Воронова, и будет любить, даже если он бросит ее. Воронов и ожидал ответа примерно в таком роде и поэтому не удивился. Он представил то мимолетно увиденное молоденькое лицо и усмехнулся: «Соперник».

И все же он ушел с каким-то нехорошим осадком. Думалось, что, даже и женись он на Маше, все равно ничего хорошего из этого не получится. «Ведь она же обыкновенная!» вспомнились ему сомнения той ночи. Нет, это действительно славная интермедия в такой глуши, и все, что было, было прекрасно, и ни о чем не надо сожалеть. Впереди еще будет много, не надо забываться, придет еще подлинное, большое, его надо ждать, его надо искать. Жизнь только начинается. Вот Шалва — он, быть может, и подходит Маше. Может, она была бы счастлива с ним...

«Фу-ты... Но ведь я люблю ее! — вдруг думал он. — Люблю! Что за дурацкие философствования!»

«Вранье. Просто нужна была тебе девчонка, а ты в угаре уже готов полезть хоть в петлю, предать свое будущее», — возражал трезвый и умный внутренний голос.

Так он думал до самого дома, обозлился на Вагнера за то, что тот, уходя, не открыл форточку и комната воняла табачищем; ворочался в постели битый час, жестоко бичуя себя, устал и, наконец, в приливе честности со вздохом решил (ничего лучше так и не выдумал), что самым порядочным в создавшейся ситуации будет постепенно прекращать ночные свидания, встречаться реже и реже, чтобы свести все на нет.

Прошло четыре дня. Воронов читал по вечерам в журналах роман с продолжением и ловил себя на том, что тоскует без Маши. Бульдозеры ночью выводили его из себя. На участке сплошная червотрепка: испортилась погода, начались дожди, работы срывались, план летел к черту. А тут еще — все к одному — срочно требовалось ехать кому-то в командировку на дальний карьер, и получалось так, что должен ехать либо главный инженер — старик, либо Воронов.

На пятый день Воронов сидел на кровати, растрепанный, измученный, и Машины детские губы, Машин лоб, ее спутанные волосы стояли у него перед глазами, он вспоминал ее голос, запах «Белой ночи». У него пересохло в горле. Он хотел видеть ее, обнять, милую, нежную, ненаглядную его девочку, упасть лицом в ее колени, забыть о заботах, почувствовать ее ладони на своих висках.

Он выволок мотоцикл и поехал к общежитию.

На сигнал вышла не Маша, а ее подруга и просила подождать у газетного киоска. Ничего не понимая, Воронов проехал квартал до киоска.

Там он околачивался чуть не полчаса, нервничая и рассматривая сквозь стекла журналы, а потом пришла та же подруга и растерянно объяснила, что к Маше приехал из армии Шалва, он не отходит от нее ни на шаг, она сейчас не может уйти. Но Маша убежит все равно и сама придет к нему. Она обязательно придет, обязательно. Только надо выждать. Тут целая беда...

Воронов мрачно выслушал, хотел сказать: «Не надо приходить», но сказал:

— Я буду ждать.

Его душила ревность. Он хотел во что бы то ни стало видеть Машу.

Дожди затопили котлованы, и впервые перестали скрежетать бульдозеры, от этого ночь казалась странно глухой. Воронов шагал от двери к подоконнику, смотрел то в окно, то на противоположную стену с замершими на ней разноцветными отблесками фонарей. Было душно.

Поздно ночью Маша прибежала к нему в слезах. Она бросилась ему на шею, умоляла простить ее, она не знает, что теперь делать. Шалва отслужил свой срок,

приехал насовсем, нашел ее с твердым намерением жениться на ней.

— А я не люблю его! Не люблю! Не люблю! С тех пор, как увидела тебя!..

Она плакала, плакала, прижималась к Воронову, вздрагивала у него на руках. И он подумал: «Ну вот, теперь я должен жениться».

Она боялась одна возвращаться в общежитие. А Воронов подумал, что, провожая, непременно столкнется с этим грузином, а грузины горячи, и будет скандальная драка. Он бережно уложил Машу на свою постель, целовал ее мокрые щеки, успокаивал, убаюкивал, а потом сидел на подоконнике, курил папиросу за папиросой и наконец уснул, как был, в ботинках и пиджаке, на койке Вагнера.

Утром он вывел Машу незаметно. Пошел в контору, сидел там и думал, что попал в заколдованный круг и теперь все должна решить его воля, а не сердечные чувства или слезы девочки. Одна мысль, что теперь он должен, именно должен, видите ли, жениться, приводила его в ярость.

Нет, не нужно было ему ездить в Старый Оскол... Зачем он сказал ей «люблю тебя»? Зачем она так привязалась к нему? Зачем было все? Вот теперь и приходится расхлебывать: начальник участка берет в жены подсобницу. Какая сенсация для стройки, какая чудная партия!

За окнами конторы уныло шуршала вода. Опять пошел дождь. Воронов накинул коробящийся плащ, пошел в управление, потребовал выделить ему вездеход и сегодня же отправить в командировку, пока стоят работы. Там обрадовались. Вечером он уже трясся на жестком сиденье гудящего под дождем «газика». Огни строительства, удаляясь один за одним, исчезали за задним стеклом.

Когда Воронов вернулся, комендантша, игриво улыбаясь, сообщила, что его несколько раз спрашивала «такая хорошенькая, застенчивая девушка», но она боится, огорчила ее, сказав, что он уехал надолго.

А через час по пути в управление Воронов увидел

на противоположной стороне улицы Машу и Шалву. Он был жилистый, темноглазый, черноволосый парень, выше и красивее, чем думал Воронов, только лицо у него было растерянное, умоляющее. Маша, завидев Воронова, подалась к нему всем телом, но Воронов нагло сделал вид, будто не замечает ее, и ускорил шаг.

Перед концом смены Шалва пришел на участок поступать на работу. Просился в подсобники к каменщикам. Оказалось, он еще не устроился даже в общежитие, жил все эти дни под небом, ночевал в штабелях досок. По его взгляду Воронов понял, что он все знает и то ли ненавидит его, то ли презирает.

За ужином в столовой Воронов случайно услышал разговор девушек-штукатуров за соседним столом о том, что Шалва не отстает от Маши, сидит часами на ступеньках ее общежития и ребята уже ходили гоняли его. Он говорит ей: «Мне все равно, с кем и как ты дружила. Я всегда мечтал о тебе и люблю только тебя». А Маша, вероятно, хочет уезжать: спрашивала, как расторгают договор.

Однажды после смены, когда солнце только что село за горизонт и уже где-то играли гармошки, Воронов усталый шел домой. С Почтовой площади отходил автобус, и Воронов приостановился, чтобы посмотреть на него.

Автобус тронулся, и в этот момент Воронов чуть не столкнулся лицом к лицу с Шалвой. Грузин шел по камням и так смотрел на окно, с такой тоской и растерянностью, что Воронов сразу, без колебаний, понял: Маша там. Он силился ее рассмотреть, но машина была битком набита, он ничего не успел увидеть, а Шалва, без сомнения, видел, он все шел рядом с окном. Он так и не заметил Воронова, который поспешил прочь. И сколько Воронов ни оглядывался, Шалва все стоял на дороге, угрюмо глядя на серую точку, исчезающую в облачке пыли.

Воронов пришел домой, все в нем горело. Он стянул с себя куртку, сапоги, лег на неубранную, сбитую в ком постель.

Вагнер бюллетенил, лежал на другой кровати, задрал ноги, ядовито дымил дрянной папиросой.

— Маша уехала, — сказал Воронов.

— Да... да, — сказал Вагнер, словно уже знал это, погасил папиросу о стул, потом спохватился и отнес ее в консервную банку, служившую пепельницей.

Он не лег, а, похрустывая пальцами, стал ходить по комнате, словно продолжая думать о чем-то своем, изредка бормоча:

— Гм... да, да... Боже мой!.. Ведь я тоже виноват... да...

У него странно дрожали руки.

Воронов отвернулся, тупо смотрел на полосатые обои, а когда поднял голову, Илья стоял над ним с дикими, ненавидящими глазами и говорил очень вежливо, заикаясь от волнения, наверное, забыв, что они давно друг с другом на «ты»:

— Вы однажды... сказали о длинной и короткой жизни. Да... да... Вы знаете, большое и глубокое, подлинное... Вы знаете... его у вас больше уже не будет...



БАБКИНЫ ОЛЕНИ

Все ее звали «бабка Груня», а отчество забыли. Старика она схоронила семь лет назад, извещения о гибели обих сыновей пришли еще в войну. Она жила одна в маленьком трехконном доме — в тихом, заросшем травой проулке Иркутска, недалеко от Ангары, но на реку не ходила совсем, боялась ее.

Бабка была тихая, незаметная. С соседями всегда ладила, в спорах уступала. Огород отдавала на лето бондарю Ларионьчу и была благодарна, если он отмеривал ей осенью мешок-другой картошки. Говорила мягким грудным голосом, приветливо покачивая в такт словам маленькой седой головкой. Ходить ей было тяжело из-за полноты, она страдала астмой. О прошедшей жизни убедительнее всяких слов говорили изъеденные морщи-

нами большие грубые руки с толстыми проворными пальцами и вздувшимися жилами.

В доме имелось две комнаты. Одну из них, что на улицу, бабка долгое время сдавала студентам гидростроительного техникума.

Это были нахальные, бесшабашные парни. Они никогда не платили за комнату вовремя, хотя она им каждый день готовила, сверх того стирала и прибирала. Потому что, если бы не бабка, они бы жили как поросята в хлеву — такой народ. «А, что с них возьмешь? — рассуждала она. — Раз пустила, пусть уж живут, не выгонять же на улицу». В конце концов она расщедрилась и простила им все долги, сославшись на то, что ей своей пенсии достаточно.

Случай был необычный. Жильцы поломались, но в душе восприняли это как должное: мол, куда ей, старой карге, еще деньги — все равно помирать! Поблагодарили и забыли.

На самом деле пенсия приходила скромная. Бабке Груне деньги, конечно, требовались. Но она завела кур, чтобы была какая-то подмога.

Дело в том, что она видела, как трудно ее жильцам осилить науку, как они ночей не досыпают, все читают, чертят, пишут — даже на гулянки не ходят, хоть парнишки все молоденькие, brave, только бы и погулять; а стипендия у них малая, едва сводят концы с концами. Она иной раз украдкой подавала к столу яички или молоко, купленное сверх тех денег, которые брала на харчи.

А ребята молотили все без разбору и только удивлялись: до чего дешево обходится питание, если не бегать по столовкам, а отдавать готовить старушке. И дешево и сердито.

Бабка охотно поддакивала, а про себя думала, что, сложись ее жизнь иначе, и она ведь могла бы в свое время выучиться, и тогда все было бы по-иному. Она даже смутно припоминала, что девочкой очень хотела выучиться. Но в молодости она служила нянькой, потом прачкой при госпитале, едва не умерла от тифа в 1918 году. Научилась кой-как писать, на том и кончились ее науки.

Постояльцы ее, конечно, другое дело. Они выучатся. Выучатся и без ее яичек или молока. Но все же она особенно подкармливала их во время экзаменов, боялась этих экзаменов больше, чем они, с трепетом ждала, какие им поставят отметки, и была счастлива, когда они получали пятерки.

Жильцы выучились, поцеловали на прощанье бабушку Груню и уехали по направлению на Братскую ГЭС. Весьма благодарили, обещались писать часто. Впрочем, тем дело и ограничилось. То ли забыли, то ли были слишком заняты: как ни ждала она писем — ни одно так и не пришло.

Бабушка Груня вздыхала и махнула рукой. Она не обиделась. Она понимала, что у ребят ведь своя жизнь. Куда им помнить там, на такой громадной стройке, о какой-то старухе, которая не мать им, не бабушка, а просто так, чужой человек. Бывало, от своих сыновей в кои-то веки дождешься открытки, а тут — чужие. Снялись — и ускакали на окрепших молодых ногах.

Худо было то, что без жильцов стало в доме скучновато.

Хозяйство много забот не просило. Кроме десятка кур у бабушки были толстый сибирский кот Потап и резвый щенок Жучок, которые вечно то дрались, то лизались, то спали клубком на тахте. Бабушка посмеивалась, глядя на них, а сама подолгу сживала у окошка, поглядывала на тихий проулок, вышивала, вязала.

Иногда она брала вязанье и шла в соседний новый пятиэтажный дом к учительнице Ядвиге Львовне, учившей ее младшего сына еще до войны.

Там она тихонько усаживалась на диван, а Ядвига Львовна до поздней ночи проверяла сочинения девятиклассников, которые бабушке Груне казались верхом премудрости и имели сложные, непонятные названия, например: «Чехов — выразитель идей передовой интеллигенции конца XIX — начала XX века», «Патриархальное крестьянство в изображении Льва Толстого».

Ядвига Львовна была непростительно забывчива и бестолкова в хозяйстве. Когда она засиживалась так,

что забывала об ужине и о том, что пора уложить дочку, бабка Груня, качая головой и недовольно ворча, шла без спросу на кухню, распоряжалась там, как у себя дома, стряпала, кормила Валюшку кашей, укладывала, рассказывала сказку. Придумывала она скучно, но это было хорошо, так как Валюшка быстро засыпала, а бабка пордилась этим и была уверена, что рассказывает очень интересно.

Потом, в полночь, они с Ядвигой Львовной пили чай с блинчиками, и учительница всякий раз говорила одно и то же:

— Ну и мастер же вы, бабушка Груня. Научите меня делать такие блинчики! Пожалуйста!

Бабка охотно соглашалась — уж чего-чего, а стряпать она умела. Но учительнице не хватало времени. Каждый вечер она приносила большие кипы тетрадей, а в воскресенье подхватывала Валюшку и легкомысленно отправлялась в театры. Ну, что с такой несерьезной женщиной делать? Подумать только! Дома пусть все хоть вверх дном, ей и горюшка мало.

Так бабке Груне и не удалось обучить ее кулинарному искусству: вдруг Ядвига Львовна объявила, что ее муж в Братске получил наконец квартиру и она с Валюшкой едет к нему. Там большой современный город в тайге, есть средние школы, она будет учить детей.

Учительница уехала. Бабка Груня снова осталась одна.

Она заметно слабела, не могла уже поднять полное ведро с водой и носила от колонки по половине. Впрочем, ей воды-то много зачем? Добро бы живности полон двор. Кот Потап и щенок Жучок много не пили, а ей самой тоже не бочка надобна.

В это время случилась неприятность: в доме прохудилась крыша. Пораспросив соседей, бабка нашла кровельщика, молодого рабочего, согласившегося за небольшую плату починить.

Его звали Ваней. Он приходил после работы и в три дня все бойко отстукал. Бабка щедро вручила ему сверх договоренной платы три десятка яиц. И нашла новую

работу: починить забор, навесить калитку, затем заготовить дрова, запаять кастрюли.

Она кормила Ваню жирными щами, — как же, ведь он работник, он должен есть сытно! — поила чаем с брусничным вареньем, вручала свернутые трубочкой деньги. Он смеялся, уходил, положив деньги в вазочку на комод, а она в следующий раз снова совала и сердилась, что он не берет.

Ваня приносил заводские новости, рассказывал, в каком был кино, спрашивал у нее совета: жениться ему или еще подождать. Бабка заводила с ним обстоятельные разговоры на эту тему и советовала жениться поскорее, но с умом.

Постепенно она привыкла ждать его, и хотя работы уже не было, он иногда забегал, чумазый, пахнувший железом, приносил кедровых орешков или пакетик чая и сидел у нее часок.

Однажды он явился возбужденный, шальной. Он сообщил, что его переводят монтажником на Братскую ГЭС, что он страшно рад, что он целый год просился туда, и вот наконец монтажные работы развернулись. А женится он уже, пожалуй, там, на стройке.

У бабки опустились руки. Весь вечер она была сама не своя. Все уезжали, точно сговорились, на Братскую ГЭС. Она плохо представляла себе, что значит эта Братская ГЭС, знала только, что о ней говорили все в Иркутске.

Ну что ж, ей хотелось, чтобы Ваня нашел там свое счастье, чтобы встретила ему милая, ласковая девушка и стала его женой, чтобы он хорошо зарабатывал.

Она собрала ему в узелок сушеных ягод, банку варенья, блинчиков на дорогу и, когда он пришел прощаться, всучила насильно. Он для видимости отнекивался, но, конечно, остался доволен.

Бабка Груня опять села перед окошком, вышивала на коврике кота с бантом, похожего на Потапа, думала о жизни.

У нее был старый-престарый репродуктор-тарелка; он был на совесть сработан и говорил не хуже теперешних коробок. Она вдруг пристрастилась к слушанию радио.

Каждое утро, в седьмом часу, бабка Груня просыпалась под звуки гимна и слушала, как по радио произносили: «Доброе утро, товарищи!»

Она слушала весь день, до поздней ночи, — и настораживалась, когда передавали иркутские последние известия. Иногда в них говорилось о Братской ГЭС, и вскоре бабка знала до мельчайших подробностей все новости оттуда.

Она шла к соседу, бондарю Лариону, и рассказывала ему. Ларион строго клепал для бочек, дивился и шамкал:

— Што только робят, сукины дети! От шамашедший народ.

Одна передача запомнилась бабке. Это было в январе. Сообщали, что на ангарском льду, среди торосов, работают плотники и строят какой-то зуб, а что за зуб — бабка не поняла.

В Иркутске в тот день было сорок два градуса мороза. Бабка Груня не была в Братске, знала только, что это далеко на севере, среди лесов и гор. Учительница Ядвига Львовна некогда рассказывала, что там даже летом в земле вечная мерзлота.

Бабка представила себе людей, работающих на льду, огромный деревянный, весь обледеневший зуб, который для чего-то нужен. Она подумала, что там сейчас, должно быть, все пятьдесят.

По радио назвали фамилию лучшего плотника — комсомолец Андрей Долохов. Ее младшего сына тоже звали Андреем, и она стала думать, что, если бы он остался жив, он бы, наверное, тоже поехал туда, на ангарский лед с торосами. Он рос непоседливым, непослушным мальчишкой.

Она забывала, что, если бы ее Андрей остался жив, он уже не был бы мальчишкой-комсомольцем. В июле исполнится тридцать шесть лет со дня его рождения. Вероятно, у него была бы семья, а у бабки Груни — внуки. Но она все думала, думала.

И постепенно ей стало казаться, что это не плотник Долохов, а именно ее Андрей там, на строительстве, и это о нем говорит радио. Она сознавала, конечно, что нагородила бог весть что, но ей хотелось так думать.

Она терпеливо ждала каждую передачу, и иногда действительно упоминали о плотниках Долохова. Тогда ей не сиделось, она семенила по комнатам, все у нее падало из рук, она смеялась и тихонько ахала.

Потом о Долохове долго не передавали. Она все беспокоилась, ходила к Ларионычу, просила взглянуть газету:

— Об Андрюше не пишут?

Сама она читала слабо, у нее в глазах рябило от мелких букв.

— Что за глупая, шамашедшая баба, — ворчал Ларионыч, но откладывал фуганок, надевал очки с разбитыми стеклами и шел к почтовому ящику.

Так он прочел ей однажды ругательную статью: о том, что на Братской ГЭС не уделяется должного внимания быту молодежи, что в ряде общежитий неуютно, испорчены репродукторы, горят тусклые лампочки, не хватает стульев и графинов, и бранили разных начальников за это.

Бабка Груня слушала внимательно. Вспомнилось ей, как она сама, еще девушкой, в 1919 году, тоже жила в общежитии, в «коммуне», как тогда говорили. В трескучие морозы ездили они под станцию Тетерев на заготовки дров для паровозов. Тогда радио еще не знали и лампочек не было.

Покойный муж только еще начинал ухаживать за ней. Они голодали, обмораживались, пели революционные песни о наступающем новом мире — тогда все за просто верили, что до коммунизма рукой подать.

Сколько лет прошло с тех пор, вот она уже старая, и сыновья ее уже были бы немолодыми, а все оказалось труднее и сложнее, она не дожидается коммунизма, и жизнь прошла. Появляются все новые молодые — и все продолжают строить, валят леса...

Бабка Груня знала, что скоро, конечно, она умрет. Умирать ей не хотелось.

Она подумала о том, как жутко коротка длинная жизнь человека, но ей не пришло в голову обижаться на это. Она говорила себе, что это не печально, что она не дожидается, — ну что ж, может быть, Андрей доживет или ее постояльцы из техникума, дочка учительницы

Валюшка, монтажник Ваня и его будущая милая, ласковая жена. Они увидят иную, лучшую жизнь, решила бабка — и всплакнула, порадовавшись за них.

Давным-давно, еще на второй год замужества, она вышла большой ковер с оленями.

Молодые, на крепких пружинистых ногах, олени скакали через леса к далеким сказочным горам. Она тогда с ног сбилась, искала нужное мулине.

Старик любил этот ковер; он висел над люлькой, дети водили по нему пальцами.

Ковер и посейчас висел на том же месте. Нитки оказались добротными, почти не выщвели, олени казались вышитыми вчера.

Бабка сняла ковер со стены, старательно выбила из него пыль на крыльце и скатала ковер в трубку. Добавила вязаные салфетки, кота с бантом, похожего на Потапа, все, что у нее нашлось более или менее ценного.

Она решила отослать это в общежитие на Братскую ГЭС. Ей оно уже ни к чему, а там голые стены, нет графинов и неуютно при тусклых лампочках. Жаль было, правда, оленей: с ними связывались воспоминания чуть не целой жизни.

В ковер она засунула лист бумаги. Письмо писала долго, карандаш как на грех ломался, неровно царапал большие буквы, а послание получилось куцее: «Дорогие ребятки, пишет вам старая пенсионерка. Хочу как-нибудь помочь вам в вашей трудной жизни и вот посылаю свое рукоделие».

Одна вещь ее озадачила: у нее не было ни одного адреса. Об Андрее не передавали. Она долго не решалась, не знала: там ли он, да и один ли Долохов на стройке? Она решила просто надписать: «В главное управление, для какого-нибудь общежития», — уж они там как-нибудь поделают.

В комнатах стало голо и серо. Бабка подумала, что, если хуже у нее теперь, это пустяки, не замуж же ей выходить, а лучше станет в каком-нибудь общежитии. Успокоилась таким нехитрым доводом и принялась обшивать полотнищем тугой сверток.



ЮРКА, БЕСШТАННАЯ КОМАНДА

1

По раскисшей от дождей дороге ехал грузовик. В открытом кузове, укрываясь под рогожами и мешками, жались друг к дружке четверо колхозниц, а в кабине сидели шофер Горлов и семилетний пассажир Юрка. Люди они были разные, не нравились друг другу и не разговаривали.

Погода стояла отвратительная. Конец лета выдался какой-то гнилой; дожди зарядили вторую неделю подряд — однообразные, морозящие, с ветром, и многие в округе опасались за урожай.

Машина месила колесами грязь, шарахаясь из стороны в сторону, вползала на скользкие бугорки, чтобы снова нырнуть в очередную выбоину. Очиститель

на ветровом стекле слабо елозил туда-сюда, только развозя грязь, и Горлов опустил боковое стекло, чтобы сподручнее было выглядывать вперед.

Дорога как раз загибалась, обходя петлей обширную пойму, и путники могли бросить взгляд на пройденное, на пойму, на видневшийся еще совхоз, из которого они уезжали.

На юру, открытый всем ветрам и хлябям, он лепился грязными унылыми кубиками мазанок, с редкими обшипанными деревцами между ними. Ветер срывал с труб водянистые струйки дымков. Понурые коровы брели вдоль обтопанного и загаженного пруда, похожего на лужу.

Непонятно, кому первому взбрело на ум поселиться в этих бесприютных степных местах и что искали здесь древние люди — невиданные ли клады или спасение от последней нищеты. Но жили они сотни лет, плодились, умирали, ставили новые мазанки взамен обветшалых. Суховеи жгли молоденькие сады, а люди с необъяснимым упорством снова их сажали. Люди могут жить где угодно, только непонятно, зачем они это делают. И поскольку шофер был сам из этих людей, он с недоумением и досадой закрыл стекло и углубился в пристальное созерцание ползущей черной коварной колеи перед радиатором. Ему мучительно захотелось выпить.

Он был тяжелый человек. Шофера Михаила Горлова давно знали как пьяницу, грубяна и циника. Ему стукнуло тридцать три года, но он не набрался ни степенности, ни ума, даже не удосужился жениться.

Правда, он сходился время от времени с разными женщинами, полгода жил со вдовой старше его на десять лет, но это был скорее сплошной скандал, чем семья, и в одну прекрасную ночь вдова с воем выбросила в окошко все его барахлишко с сундучком и в одной рубашке клялась перед сбежавшимися свидетелями никогда больше не выходить замуж. Кстати, через месяц к ней уже переселялся со своим сундуком счетовод, но это не важно. Горлов сам понимал, что он несносный человек. А ему было на это наплевать.

Некогда был он просто славный малый, верховодил оравой юных совхозных гуляк. Шли годы; гуляки осе-

дали за юбками жен. Горлов поступил учиться в техникум — бросил. Посылали его на курсы — оттуда исключили за скандалы и драки. Когда ушел в армию, многие добропорядочные люди в совхозе облегченно вздохнули. Но он отслужил и вернулся на прежнее место со специальностью шофера. Тяжелый характер не убавился, а, напротив того, Горлов стал даже как-то злее, жадным и угрюмым.

Он рвал рубль и пропивал с друзьями. За чаркой он проникновенно рассуждал, что в этой проклятой жизни учись не учись, а все равно копейка правит человеком. На что, к примеру, ему учиться? Вот он — шофер, а отхватывает поболее, нежели иной инженер. Друзья поддакивали, хвалили его правду-матку.

Следует сказать, что в совхозе Горлова хотя и не любили, но держали охотно.

Когда пахло копейкой, Горлов умел работать как зверь, хорошо работал. Свое же заработанное не упускал, за свое кровное готов был вырвать глаза. Он также гонял налево, драл с баб по гривеннику за поездку в город, всем, кто платил, подбрасывал солому, бревна и прочее. Скандалил он, как никто другой, но с обязанностями своими справлялся свято, и директор совхоза только крякал, встречаясь с ним: он старался ладить с умелым водителем, хотя терпеть его не мог и при случае первый спихнул бы его в яму. Все это прекрасно знали, и Горлов лучше всех. Он и на это плевал.

Семилетний пассажир Юрка очутился в компании с Горловым случайно и довольно странно.

Началось с того, что Горлов отправился гулять на именины, а его по дороге перехватили и доставили к директору. Сгорел трансформатор на электростанции, совхоз остался без света. Нужно было срочно доставить из города новый трансформатор, уже выписанный и лежащий на базе. Горлов поднял крик, ему пригрозили увольнением. Злой как тысяча чертей, он вылетел из конторы и столкнулся с учительницей Дымовой. Он в первый момент сгоряча даже не понял, что ей от него нужно.

Учительница просила взять в город ее сынишку и купить костюмчик. Горлов недоуменно уставился на нее.

— Пожалуйста, Миша, я вас очень прошу, — лепетала Дымова. — Я не могу отлучиться, отпуск кончился, в школе горячая пора, а он порвал последние штаны и первого сентября не в чем идти. Это такое событие у мальчика, в школу... Я заплачу за труд...

— Я не такси и не потребсоюз! — заорал Горлов так, что учительница отшатнулась.

— Но вам это несколько минут... — бормотала она, плетясь следом за ним. — Я сама виновата, все собиралась, собиралась... А вам только примерить... я заплачу за труд...

Горлову это надоело. Он остановился, как лев, преследуемый назойливой собачонкой, осмотрел учительницу с головы до ног и пошел в гараж. Дымова отстала.

Впрочем, удовлетворения это Горлову не доставило. Дымова была молода, хороша собой. Она была из дальних, приехала на работу весной, без мужа, но с карапузом; она, очевидно, еще не уяснила себе, что за человек Горлов, иначе не отважилась бы поручить ему ребенка.

Не знала она и того, что Горлов, если уж ехал в город, то не туда и обратно, как это ей представлялось, а с ночевой и полдня посвящал педантичному обходу известных ему пивных. Он сам дал себе это священное право в вознаграждение за многотрудную поездку. Ребенок при этом был бы, конечно, как пятое колесо, если не хуже.

К моменту выезда шофер позабыл об инциденте, и каково же было его удивление, когда, в последний раз насмерть разругавшись с завхозом и уже заведя мотор, он увидел Дымову, тащившую за руку к гаражу крохотного человечка, узлом завязанного в платок.

— Вот мы и успели! — радостно воскликнула она и сунула свое чадо в кабину. — Слушайся, Юрий, дядю Мишу, не шали. Он купит тебе костюмчик, и приедете обратно. А здесь сладкие пироги вам на дорогу. Сиди, не крутись!.. Миша, я вас очень, очень прошу... На нем все горит! Выберите самый крепкий, какой только будет. Вот деньги, а я вам буду так благодарна!

Горлов, машинально взявший аккуратно завернутые в газету деньги, раскрыл рот. Он хотел выпрыгнуть, открыть борт и заорать: «Сажайте! Сажайте весь детский

сад, из яслей волоките, соски покупать поедем!» Но встретился с глазами учительницы и, словно загнипнотизированный, положил сверток в карман, только буркнул про себя скабрезное ругательство; Дымова, наверное, расслышала.

— Зачем вы стараетесь быть недобрый, — укоризненно произнесла она.

Горлов рванул машину так, что Юрка ванькой-встанькой перекинулся на сиденье, и гаркнул на ни в чем не повинное дитя:

— Ну! Вот я те поверчусь!

И Юрка сразу всем сердцем понял, что дядька злой, вредный, что путешествие ничего хорошего не сулит. Он засопел и возненавидел Горлова, — внешне это выразилось тем, что он бросил на сиденье узелок со сладкими пирогами, всем своим видом показывая, что шофер может, конечно, сожрать их хоть с платком, раз мать угостила, но он, Юрка, есть вместе с ним не будет.

2

Так они ехали молча, каждый думая о своем невеселом, а дождь хлестал по стеклам, делая их рябыми и непрозрачными. Горлову было противно. В нем сидел ядовитый осадок горечи, и хотелось не то материться, не то дать кому-нибудь в морду — из-за того, что он спасовал перед директором, спасовал перед учительницей.

Как назло, приходили на ум десятки ответов, один другого убедительнее, крепче, но поздно. Мотор, кажется, собирался забарахлить. Горлов работал баранкой, жал педали, а сам глубоко задумался о том, что жизнь его не получилась, не видно в ней ничего хорошего в прошлом — и никакого просвета впереди.

Что делать, он не понимал. Может, порубить узел и бежать отсюда, что ли, ибо здесь ему плохо, никому он не нужен, нужны только его голова да руки, никто его не любит, да было б и странно, если бы любили. Сгоняй туда, сгоняй сюда, еще сгоняй — так было вчера, сегодня, будет завтра то же. Не дали даже душу отвести на именинах, да еще, как последняя горькая капля, это

смехотворное поручение — изволь, видите ли, купить костюм. А хочешь ты или не хочешь, умешь ли, этого; конечно, никто у тебя не спрашивает, — ах ты, мать честная...

С детьми Горлов никогда дела не имел, не любил их и боялся. Когда же при нем какая-нибудь мать забавляла ребенка и говорила: «А вот дядя, ты кто такой, дядя?» — он терялся, пугался и старался как-нибудь боком поскорее убраться, чувствуя себя при этом до бешенства глупо.

Конечно, Юрка был, кажется, постарше, но Горлов до сих пор понятия не имел, как это он придет в магазин выбирать костюм. Убей бог — хоть высади мальчишку на дорогу! Уж лучше бы согласился купить корову, трактор, комбайн, только не детские вещи.

Может, свозить его туда-обратно, а соврать, что костюмов не было? Правдиво врать Горлов был мастер. Мысль его забила, ища удобного решения, но тут он вспомнил, что Дымова обещала заплатить. В конце концов, не все ли равно, как заработать, раз уж сложилась такая история...

— Скажи своей матери, чтоб вышла замуж, — зло сказал Горлов, — и мужа своего посылала за тряпками.

Юрка молчал, словно и не слышал. Платок, видно, жал его под мышками, но он терпел. Из носа выглядывали сопля.

— Гм... — поморщился Горлов. — А где твой настоящий отец?

Юрка молчал, как будто его это не касалось. Горлова это взбесило: гляди ж ты, от горшка три вершка, а тоже гонор имеет!

— Где отец у тебя, к кому обращаюсь? — рявкнул он.

— У меня? — вздрогнув, испуганно спросил мальчуган и утер нос рукавом. — Нету.

— Я знаю, что нету, — строго сказал Горлов. — Да был?

— Не было.

— Был.

— Не было, — прошептал Юрка, пытаясь незаметно отодвинуться.

— Чудак, — мягче сказал Горлов, — батка у тебя обязательно имелся.

— У меня не имелось, — уверенно сказал Юрка.

— Дети без отцов не рождаются, так не бывает, понял? — объяснил Горлов и посмотрел на пассажира, ожидая ответа.

Юрка помолчал, размышляя.

— Бывает, — упрямо сказал он.

— Ну и дурак же ты, — заключил Горлов и полез в карман за папиросами.

Ему не дали закурить. Бабы постучали в кабину, прося остановить у развилки на Перегоновку. Горлов вышел, ссадил их, привычно собрал по гривеннику, а когда вернулся, увидел, что Юрка закрыл глаза и притворяется, что спит. Хитер, поросенок!

Ссыпав мелочь в кошелек и закурив, шофер подобрел. Он вообразил, как, приехав, перво-наперво пойдет в свою любимую закусную «Чайка», засядет там в тепле за мраморным столиком на блестящих трубчатых ножках — культура! Поставят перед ним пару янтарного «жигулевского» и стопку белой... У него даже слюнки потекли от такой картины. На столике, конечно, уже будет немного налито, в пепельнице — смятые окурки; официантка Поля будет проворно убирать, а он в шутку обнимет ее и получит по рукам... Будет шумно, дымно, сразу найдутся понимающие собеседники, друзья, явится один запоздалый, промокший, прямо из рейса под Косогорск, где угробил два баллона: «Митюх! Волоки пятый стул!..» У шофераг знакомых полон свет, у каждого шлагбаума, в каждой чайной.

Горлов прибавил газу, страдая, что ехать долго, и его беспокоил подъем у Перегоновки.

— Эй, ты, не спи, — толкнул он в плечо соседа. — Тут, черт, дорога, тряхнет — костей не соберешь, а я за тебя в ответе... тоже навязали тебя на мою голову.

Юрка вздохнул и еще глубже забился в угол. Горлов покосился на дверцу, надежно ли закрыта, а то, гляди, еще вывалишь пассажира.

— Так что ж мать другого отца тебе не найдет? — спросил он строго. — Разве к ней не сватались?

— Сватались...

— А она?

— Не хочет.

— Почему?

— Бойтся, что меня будут обижать, — серьезно сказал Юрка и убежденно добавил: — И правильно делает.

— Что, плохие женихи?

— Ра-азные...

— Гм... Как же это ты штаны последние порвал?

— Да... за грушами лазили.

— Через проволоку к Нефедычу?

— Угу.

— Груши еще зеленоваты, — заметил Горлов.

— Ничего...

— Это вы как, от фермы, что ли, пошли?

— Ну да, — вздохнул Юрка.

— От маманьки влетело?

— У-у!..

— Эх ты, бесштанная команда! — сказал Горлов презрительно. — Надо от ручья лазить, там канавка у смородины, ужином ползти надо так. Я вот никогда штаны не рвал.

Юрка шмыгнул носом, не ответил. А Горлов почувствовал превосходство.

Он еще надавал газу, чтобы набрать скорость перед подъемом.

Прямо перед радиатором встал стрелой в гору узкий прямой перегоновский подъем, тут и в сухую погоду приходилось туго. Мотор дрожал, машина споро поглощала метр за метром. Юрка широко раскрытыми глазами смотрел, подавшись вперед.

«Переживает», — усмехнулся про себя шофер и подмигнул:

— Вот где зимой на санях — ба!

— Гора-а... — выдохнул Юрка, восхищенно блеснув глазенками.

— А ты что ж думал, — гордо сказал Горлов, словно это он сам создал такое чудо.

Грузовик задергался. Горлов засуетился, пошел на зипзаги, переключал скорости — почти не помогало, колеса завертелись на месте. Машина медленно, косо по-

ползла назад, мягко качнулась и села в кювет, а радиатор задрался к небу.

Горлов охнул и предлинно выругался. Яростно взглянув на мальчика, будто тот был виновником несчастья, он выпрыгнул на дорогу, долго стоял под дождем, сдвигая кепку то на лоб, то на затылок. Добыв из-под сиденья топор, он ушел рубить кусты.

Многие шоферские топоры годами истребляли все живое вдоль подъема, оно упрямо разрасталось, а его губили еще быстрее, поэтому Горлов ушел так далеко, что скрылся из виду.

Он не закрыл дверцу. Ветер с мелкой водяной пылью влетал в кабину. Мотор медленно остывал. Юрка зябко съежился в уголке, ему захотелось заплакать. Он стал горько каяться в том, что полез к Нефедычу за грушами, заодно вспомнил уж и о том, что однажды мать не велела, а он ушел купаться на пруд, что дразнил соседскую собаку, что отлупил претьюго дня рыжую Таньку, бесовестную задиралу и задаваку. Впрочем, Таньку следовало отлупить и дальше полагалось лупить. Этот последний грех он снял со счета.

Горлов ввалился в кабину, двинул рычаг. Машину затрясло, но она не выехала. Шофер стал бегать к задним колесам, подкладывая ветки, опять кидался на сиденье, опять грузовик стонал, ревел, как животное. Юрка старался занимать как можно меньше места. Ему даже стало жаль шофера: тот упарился, со лба потекли капли пота. Всякий раз казалось: вот еще немножко, вот уже продвинулись вперед, качнулись... гоп! — кончились ветки, и грузовик занимал исходную позицию.

Пока шофер рубил новые ветки, Юрка подергал руками, ослабляя жмуций платок, выбрался из кабины и обошел машину. Под задними колесами была каша.

— Давайте, я буду подкладывать, — великодушно предложил он.

— Еще покалечься, дьявол! — заорал красный Горлов, но, вытерев лицо, сказал тише: — Попробуй... Только издали бросай, от колес подальше мне!

Едва грузовик качнулся, Юрка принялся бросать ветки под злое вертящееся колесо. Это было жутко и интересно. Их там перемалывало, вышвыривало, а Юрка

бросал, возбуждаясь, словно швырял кости в клетку тигру:

— Еще, дяденька, еще немножко!

Машина в последний раз поднатужилась и выехала. Горлов подождал, пока Юрка обошел ее, открыл заботливо дверцу.

— Ну вот, вдвоем сразу порядок, видишь, — назидательно сказал он, будто Юрка перед этим утверждал обратное. — Ты, брат, уж и дальше подкладывай, иначе нам тут амба.

Еще два раза приходилось Юрке бросать ветки, а когда взобрались на гребень, Горлов угрюмо поблагодарил:

— Ну, спасибо.

— Пожалуйста, — безразлично сказал Юрка; теперь уж почувствовал превосходство он, вспомнив, как сначала вызверился на него шофер.

— Ты, пожалуй, оденься — мокрый, еще простынешь. — Горлов снял с себя пиджак с понапиханными в карманы бумажками.

— А вы?

— Мне жарко, я работаю, а тебя прохватит.

Он закутал Юрку, подоткнул со всех сторон, и Юрка, чтобы показать, что он за прошлое ничуть не обижается и приемлет предложенный мир, спросил:

— Дядь Миш, что вы делаете это ручкой?

— Гм... много знать будешь, скоро состаришься, — буркнул Горлов, но пояснил: — Это скорости, понял? Вот так первая, а так вторая.

— А сейчас какая?

— Сейчас третья. Еще и четвертая есть! — похвастался шофер. — С ветерком.

— А ну, включите.

— Нельзя, постреленок. Это на асфальте.

— А тогда это зачем?

— Это фары.

— А педалями что делать?

...Вскоре две перегоновские старушки, гнавшие корову, увидели странный автомобиль. Он бешено мчался вперед, вдруг останавливался на полном ходу, пятился назад, потом принимался выписывать кренделя на дороге

и полз еле-еле. Глядя на взбесившийся грузовик, старушки решили, что шофер пьяный, сначала поругали, а потом пожалели его.

В это время в кабине Горлов, возбужденный, разгоряченный, кричал:

— Стоп! Теперь включай. Так. Скорость не забудь! Повел, повел! Валяй! — он учил Юрка править.

— Эх, кабы мамка видела, — сказал безгранично счастливый Юрка, перебираясь на свое место. — Дядь Миш, а по совхозу разрешите мне проехать? Ну, когда-нибудь, дядь Миш!

— Когда-нибудь, может, и позволю, — сказал Горлов, смеясь. — И маманьку еще прокатим, с ветерком, да, Юрка?

— Ага! Вы не сердитесь на нее, она очень хорошая.

— Чего же сердиться-то? Женщина серьезная, — задумчиво сказал Горлов. — Однако, Юрка, скверно, что нет у вас отца. Правда. Ты скажи маманьке, пусть выходит замуж, не боится. Скверно без отца, уж я-то знаю, сам без батьки рос, что за жизнь!..

— Да... еще напьется, драть будет, — заметил Юрка.

— Ну, не всякий драть будет, — возразил Горлов. — Тебе бы такого батьку, как я, например. Хотел бы батьку-шофера, с машиной, а, Юрка?

Юрка подумал.

— Нет, — вдруг сказал он.

Горлов насупился. Он натренированным ухом уловил неприятный звук в моторе. «Старые поршня, барахольские, на свалку пора, а директор выгадывает: поезди еще чуток, потяни, нету денег... Эх, жизнь!..» Вспомнил именины, на которые так и не попал, укоровизненные глаза Дымовой и ее слова: «Зачем вы стараетесь быть недобрым», — ему стало не по себе.

«Странно, — думал он, косясь на мальчишку, — и как это она отважилась мне его поручить? Разве я вызываю доверие? Я бы должен в ее глазах выглядеть прямо форменным бандитом. А может, во мне есть что-то такое... располагающее? Нет, очень странная... — он хотел подумать «баба», но почему-то подумал «женщина».

Юрка же опять устроился в уголке. Он молчал и думал: что же такое нехорошее он мог ляпнуть, что шофер вдруг так сразу обиделся? Он обнаружил узелок с пирогами прямо у себя под ногами, на полу кабины — грязном и мокро. Ему стало так жалко пирогов, жалко-жалко; нагнуться и поднять он не решался, но все гадал: может, не все куски там испачкались, может, отыщется среди них хороший?

3

Трансформатор пообещали на следующий день отгрузить. Привычно проведя машину по главным улицам, Горлов углубился в узкие, кривые переулки. Он не останавливался в доме колхозника, где надо было платить, а ночевал у разных знакомых, обязанных ему за услуги.

Остановились у низкого дряхлого домика со злоющей собакой за забором. Собака гремела цепью, прыгала, хрипела, потом вышла на крыльцо полная, рыхлая женщина и загнала пса в будку. Зевая, она открыла тяжелые ворота, а Горлов осторожно вогнал грузовик в дворик.

— Батюшки, это чья такая девочка? — удивилась женщина.

— Продери глаза, Ивановна, это мужик! — обиделся Горлов.

— Неужто это твой?

— А хотя бы и мой. Хорош?

— Хороший мальчик, да похожи вы как!

— Он лжет, — сказал Юрка, краснея за Горлова.

— Гляди ты! — удивился Горлов. — Не признает. Ну, тогда пошли, гони нам чай, Ивановна.

— Ах ты, непутевый, — говорила хозяйка, накрывая на стол. — А я было подумала вправду, забыла: не женат ты, пес бездомный.

— Неженатому вольнее, Ивановна! — смеялся Горлов.

— Глупый ты, глупый, — вздохнула она. — Кто детей не имел, тот и жизни не видел. Ты поймешь это в старости. Кабы на меня, запретила бы вам указом, таким бездомным, шалаться!

Горлов хохотал, поддевал хозяйку и Юрку, жадно уплетал щи, но Юрке не хотелось есть. Паясничанье Горлова ему не нравилось. Он загрустил.

— Ты кушай, мальчик, кушай, не слушай его, балбеса, — ласково угощала рыхлая женщина. — У нас тебя никто не обидит, ты не бойся.

— Я не боюсь, — сказал Юрка.

— А ну, одевайся, — вдруг зло сказал Горлов. — Разделаюсь с тобой, да с чистой душой коть в пивную схожу.

Юрка послушно натянул пиджачок. Он решил вытерпеть все до конца. Молча вышли, пошлепали по лужам, долго петляли по проулкам, добрались до какого-то захудалого магазинчика, где были громадные плащи, целлулоидные игрушки, но детских костюмов не оказалось.

— На Октябрьской должны быть, — мрачно почесался в затылке Горлов.

Пошли на Октябрьскую. Там костюмы были, но для взрослых. Обошли еще три магазина, пока Горлов, обремененный как тот пес в будке, не потащил Юрку к трамвайной остановке.

— Ну, навязала же на мою шею, ну, навязала, — негодовал он, грубо дергая Юрку за руку. — Приедем, пусть мне червонец кладет...

Центр города был пестрый и шумный. В мокром асфальте отражались автомобили, люди и дома; повсюду продавались лотерейные билеты, мороженое, пирожки, шары. Впрочем, Юрке даже не удавалось как следует поглядеть на эти прелести: Горлов тащил его за руку, шагая как лошадь.

В витринах большого двухэтажного магазина с вывеской «Детский универмаг» качались на качелях кот в сапогах, матрешки, крокодилы кушали калоши; стояли деревянные мальчики и девочки, разодетые как на праздник. Но Горлов потащил Юрку на второй этаж, где было тихо, чинно и необозримыми рядами висели пальто, куртки, платья, раскинулись целые россыпи ботинок и туфель.

— Выкладывайте самый крепкий костюм, — мрачно сказал Горлов.

Худенький старичок продавец принес два костюма. Горлов пощупал, помял, посмотрел на свет, чем-то остался недоволен. Пошли в кабину примерять.

— Очень хорошо, — сказал продавец. — И брюки впору.

— Это кули для овса, а брюки пол метут! — рассердился Горлов.

— Брюки на вырост, — обиженно сказал продавец. — Я полагал, вам так и надо. Сначала подшивать, потом отпускать. А если вам не надо, пожалуйста.

— Примерь, Юрка, — морщась, подал Горлов другой костюм. — Жмет?

— Точно по росту вашего сына, — воскликнул продавец. — Если рукава коротковаты, это потому, что у него нестандартная фигура. В плечах же очень хорошо. Правда, не жмет, мальчик?

Юрка от растерянности сам не знал, жмет ему или не жмет, но Горлов решил:

— Жмет! Еще! Все давайте!

— Какой бы костюм вы ни купили, он будет ему жать уже к весне, — сказал старичок. — Дети растут, они так растут, это сплошное несчастье. Покупайте на вырост, это я вам говорю, весной наплачетесь.

— Мы костюмы годами не храним, — гордо сказал Горлов. — Мы их носим, правда, Юрка? А весной другой купим, у нас денег хватает.

— Вы плохой отец! — воскликнул продавец. — И я вам удивляюсь.

— Давай, дед, валяй! — разохотился Горлов. — Неси еще костюмы!

— Вот прекрасный пиджак, это же смокинг! Вот прекрасные брюки! — расхваливал продавец. — Здесь ушить — и можно посылать в дом моделей.

— Черт те что, шьете дерьмо, совести у вас нет! — рассердился окончательно Горлов. — Кого вы надуете! Это же для детей, это же для наших детей, бессовестные!

— Мы не шьем, — вдруг устало вздохнул старичок. — Это фабрика номер три шьет. А мы вынуждены продавать и хвалить. Не похвалишь — не продашь.

— А на манекены тоже фабрика шьет?

— На манекены — то шьется на манекены.

— Раздевайте манекен! — шарахнул Горлов кулаком по прилавку.

Продавцы забегали, позвали заведующего, пытались успокоить строптивого покупателя, уверяли, что с манекенов не продается. Горлов стучал кулаком и твердил:

— Раздевайте манекены! Я вам покажу смокинги, я вам покажу нестандартные фигуры!

Наконец взяли один из манекенов, стоявших в зале, сняли с него костюм. Бедный манекен оказался такой голенький, склеенный, заштопанный, Юрке даже стало жаль его. Он облачился, и костюм сел на него как влитой. Горлов купил костюм, причем он был из дорогого материала, сшит по заказу, и денег в газете едва-едва хватило, остался всего один рубль.

Продавец вытер со лба пот и указал:

— Когда я увидел, что вы хороший отец, я это сделал только для вас. Обувь для мальчиков в том углу.

Оба, и Горлов и Юрка, невольно посмотрели на ноги. Носки Юркиных ботинок были сбиты до белого, а подошва собиралась просить каши. Горлов рубанул воздух рукой:

— Давай смотреть! А ну садись, примеряй вот эти!

Ботинки были блестящие, мягкие, с мужественными рантами. У Юрки сердце заболело: вот бы в таких пойти в школу, все мальчишки совхозные упали бы от зависти...

— Сколько? — спросил Горлов у продавщицы. — Заверните!

Юрка не поверил своим глазам. Горлов вытащил бумажник и пошел к кассе. Ботинки завернули в бумагу, положили в коробку, перевязали веревочкой и вручили Юрке.

— А почему велосипеды? — интересовался Горлов в соседнем отделе.

Он поднял одним пальцем маленький, но совсем настоящий двухколесный велосипед.

— Ух ты, тоже машина! А, Юрка?

— Пойдем, пойдем, — перепуганно и самоотверженно тянул его Юрка.

— Погоди, посмотрим, за это денег не берут. Машины-то педальные, Юрка, ты погляди машины! Ух, дьявол, «Ракета»!

— Пойдем же, да пойдем, — чуть не плакал Юрка.

— Да-а... У нас на таком некуда и выехать. А впрочем, по земле пойдет, как вы думаете, пойдет?

— Конечно! — сказал продавец. — Еще как пойдет. Песок не возьмет.

— Ну, песок и мой «газон» не возьмет, — сказал Горлов, отходя с сожалением. — Да, Юрка, такую вещь к весне покупать надо... когда сухо...

Он криво улыбнулся:

— Я вот вырос, понятия не имел, что такие чудеса возможны...

Они покинули мир соблазнов, неся два свертка, и Горлов остановился у киосков, купил себе папирос, а Юрке эскимо на палочке.

Дождик едва моросил, вокруг была приятная суতোлка зонтиков, сумок, плащей. Мигали светофоры, где-то играло радио.

— Ну, как ты считаешь, ведь недурной костюм? — спросил Горлов.

— Конечно, недурненький, — авторитетно сказал Юрка.

— Я доволен, что мы правильно выбрали, — сказал Горлов.

— И брюки не длинные, — напомнил Юрка.

— А что, Юрка, пошли гулять! — сказал Горлов. — Что нам, правда?

И они пошли просто так шляться, двое мужчин, никакой маме не подчиненных. Они гуляли долго по бульварам, детально осматривали все любопытные машины на стоянках, даже заглядывали под кузов; смотрели в дырки колодцев, в которых работали рабочие; купили губную гармошку и по пирожку с мясом. У фонарного столба стояла мокрая афиша кукольного театра, извещавшая, что сегодня в 17 часов дается спектакль про попа и работника его Балду.

— Черт с ним, пошли, Юрка? — предложил Горлов, взглянув на часы.

— Конечно, пошли, — сказал Юрка.

Они тут же купили билеты на «Балду». Седая билетерша оторвала у них контроль и пропустила в роскошное, полное зеркал фойе театра.

По паркетным полам чинно ходили девочки в фартучках и с красными повязками, показывали, где гардероб, а в гардеробе принимали плащи, зонтики и предлагали бинокли.

Горлов и Юрка притихли. Куда ни повернись, они видели себя в зеркалах — мешковатых, нескладных среди всей этой роскоши, да еще в грязной обуви, и им стало страшно стыдно своего деревенского вида.

Они скрылись в уборную «для мальчишек», Горлов развернул свертки и приказал:

— Переодевайся!

Юрка облачился в новый костюм, который не нужно было ни подшивать, ни укорачивать. За костюмом последовали ботинки с мужественными рантами. Старье сложили, завернули в бумагу и сдали в гардероб. Сам Горлов начистил сапоги, почистился щеткой и надушился одеколоном у служителя. Он взял Юрку за руку и снова повел в фойе, кося глазами в зеркала, удивляясь: как чудесно они выглядят на пару с Юркой. В буфете они сели за столик, заказали пирожное, два слоеных языка, два бутерброда с икрой и бутылку сидра. Юрка уплетал за обе щеки, Горлов тоже с удовольствием подкрепился и вдруг подумал ни с того ни с сего: «А не бросить ли пить?» Подумал, и стало жутко.

В зале они сидели в пятом ряду, Горлов своей широкой спиной закрывал задним полсцены. Его попросили пригнуться. Сказка про попа и его работника Балду понравилась шоферу не меньше, чем Юрке. Он пришел в совершеннейший восторг, хохотал, аплодировал, стучал сапогами, пока Юрка не сделал ему замечание.

И даже много позже, когда уже легли спать на раскладушках в душной горнице маленького домика, Горлов вертелся, вспоминал и улыбался:

— Юр, а Юр! А как он его по башке! Поп аж до потолка!

— Ага.

— А тот черт из моря, оборванный! «Ты чего, говорит, мутишь?»

Юрка из вежливости поддакивал и смеялся, пока не уснул.

Ночью ему приснился педальный автомобиль «Ракета», который подарили ему Горлов и мать. Юрка легко ездил по зеленой траве, а потом машина оторвалась от земли и полетела, а Юрка сидел в ней, как пилот, и, чтобы быстрее лететь, взмахивал еще руками, как крыльями, все удивляясь: как же это он раньше не подозревал, что можно так просто, великолепно летать.

Внизу стояли маленькие мама и Горлов, подняв счастливые лица, и мама беспокоилась: «Не задень за проволоку, не порви костюмчик, сынок!» А Горлов смеялся: «Повел, повел! Валяй, Юрка!»

Шофер, наоборот, долго не спал. Он ворочался, курил; стремительно бежали мысли в развороченной голове. Это было потому, что он так и не выпил в этот вечер. Крутились перед глазами старый продавец из универмага, паркетный пол и зеркала в театре; он вставал, открывал форточку, проверял, покойно ли спит Юрка. И все вспоминал, как он истратил деньги, и как это вышло, что он на свои кровные купил ботинки чужому мальчишке, тогда как копейка правит человеком. Лишь далеко за полночь он с трудом уснул, но продолжал ворочаться, бредил и кричал:

— Ну, ты, поворачивайся, залей подшипники, черрт!

4

На другой день продолжалась все такая же ветреная, сырая погода, но без дождя. Все утро Горлов мотался по складам, оформлял разные бумажки. Трансформатор был получен, погружен, машина заправлена бензином.

Выехали после полудня. У шлагбаума прихватили с десяток баб до Славяновки.

Ветер несколько просушил дорогу, особенно в открытом поле. Грузовик пошел ровно, споро, как добрый конек. Несколько раз, впрочем, останавливались, Горлов поднимал капот и проверял масло в двигателе: ему

казалось, что оно слабо поступает. Но масло поступало хорошо.

На спуске с горы проехали мимо выбитых в кювете ям и перемолотых веток. Их было значительно больше, чем тогда, — наверное, не одна машина еще билась на адском подъеме. Горлов кивнул Юрке:

— А?

— Ага, — подтвердил тот.

Он прижимал к себе бесценные свертки, узел со сладкими пирогами, который по странному совпадению дала им на дорогу рыхлая женщина, хозяйка маленького домика.

Из кузова часто застучали. Горлов свернул на обочину, тормознул. Женщины слезали, снимали покупки, копошились. Шофер нетерпеливо открыл дверцу, хотел пугнуть их, чтобы не задерживали, но решил, что вряд ли Юрка найдет это остроумным. Бабы расстегивали кошельки, доставая деньги, но Горлов махнул рукой:

— Все, что ль? — и тронул машину.

— Ты почему же не взял? — удивленно спросил Юрка.

— А ну их. Не видал я их гривенников вонючих! — сердито сказал Горлов.

Вскоре Юрку укачало. Он сонно глядел на дорогу, крепился, клевал носом — и уснул.

Шофер повел машину тише, осторожно взял из рук Юрки свертки, поправил ему шапку. «Похож на мать, точная копия, — подумал он. — Красивый будет парень, черт подери, и такой же прямой, гордый. Бедовый постреленок. Тоже подумать — не шутка была матери вынянчить. Молодец женщина, одна с дитём, да в таком захолустье, работает... И негодяй же, должно быть, бросил такого сына и мать».

Вообще он не выспался, потому что встал в шесть часов утра — готовил машину к обратной поездке, но, несмотря на это, в голове и в теле его ощущалась какая-то непривычная трезвость и бодрость, чего с ним прежде никогда не бывало при поездках в город. Он опустил стекло и высунулся, вглядываясь вперед, ожидая поворота на пойму. Он прошел этот поворот лихо,

с ветерком, а Юрка не проснулся, только головенка мотнулась.

Далеко вдали сверкнули стеклами совхозные постройки. Ветер гнал караваны серых, тяжелых туч, но чувствовалось, что теперь он их уж наверняка разгонит — в разрывах мелькало небо, и по полям бежали желтые солнечные пятна. Стояли густые, влажные и тяжелые хлеба, свежо зеленела вымытая дождем трава обочин. И такой был простор, такие дали, столько в них было свежего воздуха, ветра, запахов, залетавших в кабину. На холме белыми крапинками привольно раскинулись домишки, блеснул совхозный пруд с едва различимыми точками гусей.

Этот мир был тревожен, красив и наполнен до краев, как бывает в детстве, как в дни любви.

Горлов словно впервые в жизни изумленно увидел это и внутренне ахнул. Он протянул руку, чтобы растормошить, встряхнуть Юрку и показать ему чудо.

Но мальчуган так крепко спал, что было жаль будить, и он не тронул его.

Он подумал, что у мальчика будет впереди большая, длинная жизнь, и он — бог ты мой! — сколько раз еще узнает радость и красоту мира.



СТАРЫЙ ИНСТРУМЕНТ

В районном доме культуры шел смотр самодеятельности.

С утра на площадь съезжались грузовики, автобусы, потрепанные автомобили разных марок из ближних и дальних мест, из них высаживались пестрые толпы участников смотра, машины разворачивались, подкатывали под окна дома, и вскоре из них выстроилась длинная неровная шеренга.

Шоферы шли в зал — аплодисментами поддерживать своих, — а оттуда потихоньку перекочевывали в буфет.

В темном зале все время происходило движение. Выступившие приходили из-за кулис, искали свободные места, заведующие клубами озабоченно прибегали

на цыпочках, шушукались, посидев минуту, вскакивали и исчезали.

Лишь в левом дальнем углу образовалось устойчивое ядро особо старательных и объективных зрителей, которые сами не выступали, никуда не торопились, не шептались и мест упорно не освобождали.

Члены жюри сидели на мягких стульях в проходе у пятого ряда; перед ними был столик с накрытой куском бархата лампой, которая освещала только стопу скелотых скрепками списков да розовые блокноты на скатерти.

Возглавлял жюри столичный композитор — пожилой замкнутый мужчина в очках. Он почти ничего не говорил, по его облику нельзя было определить — нравится ему что-либо или нет, он всегда был невозмутимо спокоен.

Участники смотра, косясь на его лицо с довольно неприятными чертами, трепетали и боялись его страшно. Они, впрочем, не знали, что председатель на самом деле — терпеливейший, добрейший, застенчивый до робости человек. В своей жизни он ни на кого не повышал голоса. Обладая плохими нервами, он привык держать себя в узде. Не любитель быть на виду, он чувствовал себя неуютно в роли главного судьи, за этим демонстративным, загородившим проход столиком; ему хотелось покурить, но он не позволял себе встать и на минуту выйти.

Вторым членом жюри была приехавшая с композитором молодая аспирантка консерватории, дирижер хора по специальности, девица высококультурная, очень эрудированная, обо всем имевшая свое категорическое мнение.

Но это опять-таки было внешне, а на деле она боялась композитора, боялась ударить перед ним лицом в грязь и сейчас же готова была отказаться от своего категорического мнения, если композитор, внимательно выслушав и покивав головой, говорил противоположное.

В жюри входил также художественный руководитель Дома культуры — долговязый мрачный парень, закончивший после армии культпросветовский техникум, человек неудовлетворенный, видно, по характеру строгий,

даже злой. Участники самодеятельности ходили у него в струне, он у них пользовался непререкаемым авторитетом, ибо все решал энергично, с одного разу, честно говоря, может, не всегда верно, но уже сама энергичность не допускала мысли об иных вариантах, и все получалось хорошо, а ребята были готовы ради него в огонь и воду.

Однако, оставаясь наедине с собой, он страдал, что у него малое образование, знал, что на одной дисциплине в искусстве долго не проживешь, не представлял, на что ему в своей жизни решиться; и здесь в жюри, несмотря на всю строгость и нахмуренность физиономии, он мучился своей неотесанностью, тоже дрожал — но не столько перед председателем, сколько перед непостижимо эрудированной аспиранткой. Ему казалось, что фактически все решает она, а старый бесхарактерный композитор лишь поддакивает.

Программа составила бесконечно длинная. Члены жюри предусмотрительно плотно позавтракали; на табуретке перед столом стоял графин лимонада. На сцене сменялись хоры, тещы, танцоры, снова хоры. Изрядный успех выпал на долю кушетистов библиотечного техникума, а также двух пастухов с обыкновенными дудками. Среди вокалистов особых голосов не обнаруживалось. Отличился ансамбль доярок из совхоза. Тщательно подготовленная кружком промартели, богато оформленная и занявшая чуть не полчаса сцена из «Ревизора» прошла вяло, успеха не получив.

Все выступления композитор смотрел спокойно, внимательно-невозмутимо, лишь изредка ставя какую-то закорючку в программе.

Аспирантка ерзала, принимала разные позы, часто поглядывала на композитора, словно пытаясь угадать, что он думает о том или ином выступлении; то вдруг строчила авторучкой в блокноте, то с серьезным видом, откинув голову, смотрела на сцену критически оценивающим взглядом.

Парень — художественный руководитель — уставился в стол перед собой и ни разу не посмотрел на сцену, только иногда, слушая, недоуменно, с досадой поднимал густые брови.

Вышла на сцену девчонка лет пятнадцати-шестнадцати. Малая, угловатая, с розовым лицом и толстой льняной косой, которую ради важности случая — а скорее, чтобы казаться старше и солиднее — закрутила бубликом на затылке. Вынесла большой старый баян — потертый, с латаными мехами.

Девчонке забыли подать стул. Она постояла, оглянулась и ушла за сцену. В зале стали смеяться. Она сама принесла стул, уселась, спрятавшись за большим баяном, и, положив пальцы на кнопки, притихла.

В зале опять прошел шумок. Но девчонка оборвала его резким, будто с перепугу, движением, растянув мехи баяна. У инструмента был благородный тембр.

Она заиграла всем известную, игранную и переигранную «молдовеняску». Когда-то она выучила этот танец по слуху, потом он надоел ей, она его забыла. Потом, в Доме культуры, опять выучила, уже по нотам. И ведь попробуй выучи и сыграй его как положено: легко, стремительно, естественно, чтобы дыхание перехватило, чтобы все прекратили шушуканье и удивленно взглянули на сцену. Это был ее труд, ее открытие, и она гордилась своим трудом, она всем хотела показать, какой это сложный танец, «молдовеняска», и как он зажигателен, красив, хорош.

Парень — художественный руководитель поднял глаза, подался вперед, сжавшись, затаив дыхание впился взглядом в мелькающие пальчики девчонки; чувствовалось, что он очень за нее беспокоился, хотел, чтобы она понравилась, переживал, как бы она не сбилась... Аспирантка переменяла позу, положила авторучку и посмотрела на девочку с одобряющим и даже ласковым видом. Композитор потер переносицу, отыскал в списке строку: «Мокина Нина, СМУ № 1, ученица, баян», подумав, нацарапал на полях какую-то особо замысловатую рогульку.

Аплодисменты были лишь чуть-чуть длиннее обычных, но в дальнем углу, там, где находилось устойчивое ядро, несколько пар крепких рук, словно не желая сдаваться, все хлопали и хлопали в наступившей тишине, пока на них не зашикали.

После выступления девчонки объявили перерыв.

Художественный руководитель поспешил за кулисы ругать своих. Композитор вышел на пустой балкон и наконец с наслаждением закурил сигарету с золотым кончиком. С балкона был виден почти весь городок — бурые ряды крыш, голые деревья, водокачка и пожарная вышка. У шеренги машин внизу бузотерили мальчишки, нажимая сигналы; шофер выскочил, прогнал их, бранясь. Площадь перешли два очень самодовольных человека — безобразно разъевшиеся, в одинаковых белых картузах, с одинаковыми истрепанными портфелями под мышкой. Какая-то непоколебимая тупость, беспросветный идиотизм были написаны на их важных лицах. Хромой старик протащил на веревке коровенку, она оставила на тротуаре лепешки.

Композитор вспомнил, что хотел поговорить с маленькой баянисткой, затушил сигарету и отправился искать ее.

Она сидела в проходе за сценой, забившись в угол пыльного, с облупившейся позолотой бутафорского дивана, и отчаянным усилием не позволяла себе заплакать. Композитор посмотрел на диван и сел рядом с ней. Она перепугалась, встала и руки опустила по швам. Он велел ей сесть.

Сначала он выяснил, кто она, кто ее учил, долго ли училась. Оказалось, с ней занимался сам художественный руководитель.

— Он хороший педагог? — спросил композитор.

— Но он не виноват, что я плохо играла! — с болью воскликнула девчонка. — Он меня очень хорошо учил, и все объяснял, и строго спрашивал. Это я одна виновата, что так подвела!..

Она не выдержала и наконец заревела, захлебываясь, отчаянно, по-детски.

Композитор беспомощно оглянулся, потряс ее за плечо.

— Ну, будет, будет, — пробормотал он. — Это у тебя нервы, это бывает у новичков после выступления. Все очень хорошо, и играла ты лучше других. Я бы даже сказал — играла хорошо.

Он не любил превосходных степеней и не употреблял их.

Смотр продолжался до позднего вечера. Аспирантка устала строчить в блокноте, завинтила авторучку и спрятала ее в сумочку. Ведомость председателя заполнилась закорючками, ввиду их большого количества пришлось некоторые вычеркивать. После заседания он спросил у художественного руководителя, где живет баянистка Мокина Нина, что играла «молдовеняску».

— А что? — забеспокоился тот. — Послать за ней?

— Нет, — ворчливо сказал композитор. — Вы, кстати, не знаете, откуда у нее этот старый хороший инструмент?

— В литературе описывались подобные случаи, — заметила аспирантка. — С годами дерево выдерживается, приобретая высокое качество звучания, особенно в средних и низких регистрах; возможно, так и этот баян. Ярче всего это, конечно, у скрипок.

Композитор кивнул головой.

Было уже темно, когда он вышел из Дома культуры. Качались редкие фонари, слабо освещая разъезженные обочины дорог. Композитор был близорук, скверно видел в темноте и все время попадал в грязь. Он долго блуждал вдоль заборов, сердясь, что на углах нет названий улиц, а на домовых номерах ничего нельзя разобрать.

Мокина жила в одноэтажном, вросшем в землю домишке. На стук открылась дверь, из полосы света бросился круглый лохматый пес, лаял, кидался и мешал говорить. Его загнали в сени и заперли, он там царапался, возмущенно скулил, а гость, пригнувшись, вошел в чисто вымытую жаркую горницу.

Первое, что ему бросилось в глаза, это бесчисленное множество фотокарточек по стенам — одиночных и в общих рамах, где их было наклеено видимо-невидимо; все рамы были украшены вышитыми полотенцами. На комодe красовался пук ярких бумажных роз, а над ним — самая крупная фотография, выцветший портрет молодого военного с кубиками в петлицах.

На лавке у окна стоял старый баян в неуклюжем ящике-футляре, настолько потрепанном, что дерматин торчал из него, а вместо застежек имелась ржавая замочная накладка; на футляре валялись гребешок и щетка для волос.

Нина распустила дурацкий бублик на затылке, с длинной косой она показалась композитору приятнее.

Мать Нины — худая, сутулая женщина — настороженно, но не удивляясь подвинула гостю табуретку и предложила нагреть чаю.

От чая композитор отказался и спросил, как они живут. Выяснилось, что их только двое в доме, отец умер в сорок пятом году. Прошел невредимым всю войну, вернулся домой, слег и в одну ночь помер «от сердца». Да, это после него остался баян, и девочка маленько балуется. Конечно, разных симфоний она не умеет, но ноты понимает, также и сольфеджио начала и музыкальную литературу.

Мать старалась говорить умными словами, держалась очень вежливо, с немного напыщенным достоинством, как бы давая понять, что и они люди культурные, лыком не шиты и никакие композиторы им не в диковинку.

Гость слушал ее и думал, что эта не старая еще женщина, должно быть, немало в жизни хлебнула всякого. У нее были длинные руки с вздувшимися венами, острые локти, большие кисти с обломанными ногтями на пальцах.

— Ваш баян мне понравился, — сказал композитор. — А девочка хорошо играет. Ей нужно серьезно учиться. Я, собственно, и зашел по этому делу.

— Выйди, Нина, — неожиданно велела мать.

Нина, сидевшая до сих пор тихо, как мышонок, выскользнула в сени, — там послышался торжествующий собачий лай, хлопнула наружная дверь.

— Не морочьте девке голову! — вдруг враждебно сказала мать, видимо забыв о своем намерении вести вежливый, дипломатичный разговор. — Не сбивайте с толку, говорю я вам! Вот вы уж вроде бы человек пожилой, человек сурьезный, а тоже затеяли такое нехорошее дело! Сговорились вы, что ли?

Композитор ничего не знал о том, что кто-то уже беседовал до него. Он думал, что первый открыл талант.

— Почему — нехорошее дело? — рассердился он.

— В легкую жизнь я ее не пушу, в артистки не отдам, — жестко сказала мать. — Не для того вспоена,

вскормлена, не для того я над ней убивалась. Теперь она мне помощница! Не отдам.

Весьма смущенный таким оборотом дела, композитор стал возражать, что талант нужно беречь, талант нужно развивать. Что работа артистов — это совсем не «легкая жизнь». Искусство — это высоко и прекрасно. Творчество — великое счастье.

Но в этой обстановке, перед лицом рассерженной, изможденной, непримиримой женщины все эти веские слова вдруг оказались не более чем словами. Они словно потеряли свой вес и значение. Возможно, здесь был нужен другой язык, которого композитор не знал, которому не учился, и он вдруг замолчал.

Где-то в нем даже шевельнулась поганенькая интеллигентская обида: вот, дескать, приехал в захолустный городишко композитор, пришел в дом к этой простецкой женщине, чтобы несказанно удивить ее, повергнуть в изумление, заявив, что согласен взять ее дочь в столицу, следить за ее образованием, помогать... И нечего сказать — обрадовал.

Сухо попросившись, он надел шляпу и вышел. Сначала глаза его ничего не видели, потом различили огоньки фонарей, он двинулся наугад.

От забора отделилась фигура Нины, с ней подкатился злой лохматый шарик.

— У нас грязь, я вас провожу, — робко сказала Нина. — Ступайте за мной.

Он пошел, куда она указывала, чувствуя между тем все ту же обиду, чувствуя себя глупо и сердясь от этого.

У подъезда Дома культуры композитор спохватился, что ему, собственно, сюда было незачем: он ночевал в доме приезжих, куда отнесли его чемодан. Но ему не хотелось заставлять девчонку тащиться в другую сторону, он решил дойти туда сам.

— Непримируемая у тебя мать, — сказал он.

Нина испуганно кивнула головой.

— Но тебе все же надо учиться.

— Я знаю, надо, — убежденно сказала она, как говорят подростки, уверенные, что они и в самом деле знают, как это надо.

— Ничего ты еще не умеешь, — сказал композитор, — и не знаешь. Но можешь уметь.

— Я буду играть, буду учиться, научусь, я буду так играть!.. — горячо, по-детски бессвязно воскликнула девчонка. — Я докажу, я ей докажу, я всем докажу!..

Композитор пожевал губами, достал какую-то бумажку.

— Ладно. Вот это — мой адрес. Если тебе удастся... гм... доказать, приезжай. Баян береги — очень хороший инструмент, цены ему нет. Пиши.

Он поднялся по ступенькам, подергал дверь, опять спохватился, что ему надо в дом приезжих, сердито засопел и направился в другую сторону.

На другой день к Дому культуры подъехал забрызганный грязью автобус. До станции было сорок километров, и члены жюри должны были уехать этим автобусом. Их провожала большая толпа. Девуцу-аспирантку и композитора уже не боялись, о чем-то расспрашивали, что-то восторженно рассказывали. Художественный руководитель был необычно возбужден, все проводил ладонью по лбу и волосам, словно вытирая пот после тяжелого экзамена. По числу призовых мест его Дом культуры победил, ехал в область, и это вознесло его на вершину радости, все казалось достижимым и возможным.

Девуца аспирантка успела прочесть квалифицированную лекцию дирижерам-хоровикам, обменялась десятками адресов, убедила в своей эрудиции всех без исключения, и она уезжала тоже чрезвычайно довольная собой.

Лишь композитор, несмотря на то что всем пожимал руки, со всеми дружески прощался, был недоволен, устал, его все время беспокоили отголоски вчерашнего, обрывки каких-то мучительных мыслей, осаждавших его на жесткой кровати в доме для приезжих. Ночь он провел плохо, почти не смог заснуть на новом месте, и он без энтузиазма смотрел на автобус.

Когда автобус тронулся, выяснилось, что он разболтан еще более, чем можно было подозревать. За потными окошками поползли водокачка, вышка, разномаст-

ные домишки городка, и тот самый дед тащил за веревку ту самую упирающуюся коровенку, словно он не расставался с ней со вчерашнего дня. Потом композитор узнал дом Нины Мокиной.

Ему вспомнилось ее бессвязное, горячее: «Я докажу, всем докажу», — и он с неожиданной большой теплотой подумал, что она действительно, пожалуй, докажет.

«А может, в этом все? — думал он. — Доказывать, доказывать без устали, даже если это немного. Даже если это «молдовеняска»...» Он стал протирать рукавом стекло, чтобы еще раз взглянуть на ставший ему близким городишко, но холмы уже заслонили его, а вокруг потянулись бескрайние убранные поля до самого горизонта.



АВГУСТОВСКИЙ ДЕНЬ

Разбирали дело о нанесении побоев с ранением. В совхоз приехали и заседали в конторе начальник районной милиции, прокурор:

Дело было выяснено, свидетели опрошены и отпущены. Пострадавший находился в больнице, а преступник со вчерашнего дня содержался в районной тюрьме.

Начальствующие лица, включая управляющего совхозным отделением Савина, остались втроем в его голом кабинете с продавленным диваном. Украшением кабинета служил пук побуревших сухих кукурузных стеблей, призванный свидетельствовать о неких феноменальных урожаях, а рядом стояло знамя, но не за урожай, а за надой молока. На столе блестела зеленая пепельница с водой, из которой веером торчали мокрые окурки.

Пора было ехать. Но августовское солнце так щедро

жгло, воздух был так горяч и расслаблял тело, что никто не отваживался подняться первым.

Говорили о разных хищениях, нарушениях, скрывая сладкую полдневную одурь и нежелание садиться на раскаленный, как сковорода, фиолетовый милицейский мотоцикл, стоявший на улице под окнами.

На этом мотоцикле они приехали из района, изжарившись и обпылившись до последней степени, причем за рулем сидел начальник милиции Крабов, в коляске — Савин, а прокурор Попелюшко пристроился на втором седле, за спиной у начальника милиции.

Километров за десять до совхоза заднее седло под прокурором выстрелило и сломалось. Тогда пришлось пересадить прокурора в коляску, а на его место сел тощий Савин, и так с грехом пополам дотащились.

Дело в том, что прокурор Попелюшко был необыкновенный человек. Он весил сто тридцать килограммов. У него были большие пухлые руки в рыжих волосках и веснушках, тумбоподобные слоновьи ноги, огромная жирная голова — вдвое больше, чем у тщедушного Савина, — необъятные живот и прудь. Словом, как выразился Крабов, бранясь за сломанное седло, незначительная природа ухлопала здесь столько материала, что хватило бы с избытком на двоих, а то и троих смертных, то есть налицо растрата и перерасход.

И вышитая сентиментальными цветочками прокурорская рубаша была объемом с мешок для хранения одежды, и штаны его были такой необъятной ширины, что из них удалось бы скроить до полдюжины узких «дудочек» на радость пижонам. На ногах не следовавший моде Попелюшко носил легкие растоптанные тапочки, на голове — соломенную шляпу, имел очки, которые уменьшали его глаза и сами казались очень маленькими на его широком поросячье-розовом лице.

При всем том этот гигант был болен, мучился одышкой, голос у него был тонкий и мягкий; он страдал от духоты более других и непрестанно утирался носовым платком размером с полотенце.

Начальник районной милиции Крабов был из совсем другой категории людей, он представлял собой разительный контраст коллеге.

Если нерачительная природа вылепила Попелюшко из горы мягкого, пухлого теста, то на Крабова такого теста уже не осталось, и пошли в ход щепки, комья, камни, разные ошметки — все, что удалось наскрести неудобного, жесткого, но крепкого. Он весь ушел в жилу, бугры, каменные мускулы. Черты лица его были резки и некрасивы. Вдобавок он испортил себя не идущей ему прической с коротким мальчишеским чубчиком, которая делала его похожим не то на беспризорника, не то на битого боксера.

— Придется, пожалуй, связать седло проволокой, — размышлял он вслух ленивым басом. — А вы, прокурор, поедете в коляске, да помолимся богу, чтоб выдержала.

— Проволоки я вам сейчас принесу, — сказал Савин, не делая, впрочем, никакого движения. — А то можно в кузницу, хлопцы приклепают, если не ушли в поле.

— Ну ладно уж, доедем...

— Говорят, у вас на центральной усадьбе, — тоненько, задыхаясь, сказал прокурор, — украли пять мешков пшеницы?

— Кто украл? — поинтересовался Крабов.

— Грузчики.

— Народец!

— Да, а Ряховскому что дали?

— Какому Ряховскому?

— Да что весной, за убийство.

— А!.. Тому, помнится, двадцать.

— Не высшую?

— Нет. Нашли смягчающие.

— В такую жару только купаться... — вздохнул начальник милиции.

Савин задумчиво посмотрел в окно.

— Это вообще можно, — сказал он. — Пруд есть. Не очень пруд, но ничего. Может, пойдём?

— Правда? — оживились гости.

Все трое поднялись — причем Крабов сразу же снял гимнастерку, — вышли и направились гуськом к пруду.

Впереди шел добродушный невзрачный Савин, за ним выступал, как журавль, начальник милиции в белой майке, с гимнастеркой под мышкой, а прокурор, тяжело

сопя, загребая тапочками пыль, сразу отстал, и на него из-под лопухов закурьлыкали и зашипели гуси.

Село будго вымерло. С поля лился заманчиво пахнувший сеном раскаленный воздух. Вдоль пустынной улицы виднелись кое-где под плетнями куры, лежавшие в пыли, открывшие пересохшие клювы, да еще одна какая-то древняя-древняя старушка, вся в черном, отрешенно сидела в тени крыльца, опираясь на суковатую палку. Она проводила прохожих тусклым, безучастным взглядом.

— Прудов у нас, правду говоря, три, — говорил Савин. — В двух уток разводим, а третий, нижний, пока пустует. Думаем на будущий год заселить.

— А!..

— Жрут только много утки. Не напасешься.

— Это что же такое? — вдруг насторожившись, спросил Крабов и остановился, вслушиваясь, как охотничий пес.

Откуда-то, из-за куп деревьев, донесся все нарастающий панический крик тысяч народу, какие-то глухие удары, выкрики, скрежет и сплошное «ала-ла-ла...»

— Где? — удивленно спросил Савин.

— Вот — кричат!

— Да утки же, говорю, — верно, кормят на верхнем пруду. Мы уж привыкли, не слышим.

— Так много?

— Двадцать восемь тысяч.

— Фью!

Они вышли на склон и теперь своими глазами увидели огромную огороженную площадь, усеянную, словно пухом из разорванной подушки, белыми живыми точками.

Неизвестно, где кончалась земля и начиналась вода, потому что утки сплошной массой покрывали и берег, и пруд, двигались какими-то концентрическими кругами, а в одном месте, куда, видно было, все стремились и где маячили фигурки работниц, сыпавших что-то из ведер, творилось нечто подобное кипящему котлу.

Кусты под изгородью зашуршали, и вышел хромой человек, неся в обеих руках за лапы, как охотник, с дюжину мертвых уток.

— Что он, зачем он? — подозрительно спросил прокурор.

— Дохнут, окаянные.

— То есть как?

— Да кто их знает. Столько тысяч — которую затопчут или от жары, а то что-нибудь слотнула. Ведь тут их, почитай, целый город народу, кто-нибудь да и помрет.

— Сторожей много держите? — деловито поинтересовался милиционер.

— Вот этот один, хромой.

— На такое хозяйство? — усомнился Крабов. — А не мало?

— Нет, ничего. Собственно, и ему делать нечего, разве дохлых собирает.

— Скажите, пожалуйста, и не воруют? — недоверчиво покачал головой прокурор, глядя на жиденькую изгородь, которую перешагнул бы и теленок.

— Изгородь слаба, — согласился Савин. — Воровать не воруют, но сами иногда сквозь щели уходят. На нижний пруд — там их трудно взять.

— Списываете или как?

— Зачем? Подожду, пока побольше соберется, тогда мальчишки гонят лодкой. Бывает, живут на воле недели по две, иная жирнее становится, чем на наших харчах.

— Помилуйте, но я не совсем понимаю: ведь так каждый может прийти и забрать? — воскликнул прокурор.

— А кому там они нужны!

— Вы ее сперва поймите попробуйте, — заметил Крабов.

— Но ночью, скажем, спящую, уж я не знаю, но все-таки...

Было видно, что объяснение Савина его не убедило, и он все косился на изгородь.

На склоне к нижнему пруду негусто росли вишневые деревья, усеянные уже чернеющими ягодами. Дорога шла прямо сквозь вишни; среди них паслись две стреноженные лошади, третья распуталась и бродила, волоча за собой веревку.

Крабов огляделся и остался недоволен:

— А сад у вас совсем скверно охраняется.

— Это не сад, это так, вишни, — беззаботно сказал Савин. — Общественные.

— Как общественные?

— Да они нерентабельны. Как в войну немец вырубил, так уж на этом месте не восстанавливали. На том берегу лучше земля, там новый сад, и дед есть на коне, с палкой, а это так, кое-что отошло, дикое.

Прошли мимо десятка деревьев, косясь на ягоды, наконец прокурор не удержался, нерешительно сорвал одну.

— А ничего, — сообщил он и торопливо сорвал еще две. — Ничего вишня! Крабов, попробуйте.

Начальник милиции, словно нехотя, попробовал.

— Ого, — буркнул он. — У спекулянтов такая идет по гривеннику стакан, а вы говорите — нерентабельно.

— По нашим масштабам, коли учесть сбор, доставку... — улыбнулся управляющий, видя, что гостям хочется вишен и вместе с тем они как будто не решаются. — Да тут можно поискать, вон то дерево неплохое.

— Крабов, идите сюда! — воскликнул Попелюшко, тяжело, как носорог, продираясь сквозь ветки. — Нет, положительно ничего вишня. Удивительно, до чего хороша!

Начальник милиции положил на траву гимнастерку и пошел за ним, оба стали рвать и есть не так чтобы жадно, но довольно споро.

Управляющий, улыбаясь, сорвал одну-другую вишню, морщась, пососал.

— Хороша вишня! — сообщил прокурор с полным ртом, обеими руками проворно собирая ягоды. — Ах, хороша вишня, м-м... а вот! Нет, вы идите сюда!

За листвою уже виднелась только его желтая соломенная шляпа и шуршали, трещали ветки.

Крабов лакомился молча и обдуманно. Он подтянулся на руках, как ловкий гимнаст, взлетел на ветку, сел в развилку верхом и торопливо принялся огрести самые спелые гроздья с верхушки, точь-в-точь как заправский сорванец-подросток, забравшийся в чужой сад и мечтающий поскорее набить рот, пазуху, карманы, пока сторож спит.

— Ах, что за вишня, какая вишня! — доносился голос прокурора. — Послушайте, Савин!

— Да?

— Я говорю: чем хороша у вас жизнь, так вот этим. М-м, вот где спелые... У вас природа, здоровье, воздух — за него тысячи отдать. Крабов, да где же вы? Идите, ну, идите же скорее сюда!

Начальник милиции тяжело, с треском сверзся на землю, отряхнул руки и галифе.

— Сидишь как проклятый, мечешься как пес... — вдруг зло сказал он.

— Что вы говорите? — переспросил Савин.

— Да ничего... Я говорю: наряды, вызовы, воры, драки, взятки, прописки... Света не видишь. Тьфу!

— Тут тоже хватает, — равнодушно возразил управляющий. — Да и закрутишься, не замечаешь природы этой.

— Ах, хороша вишня, — твердил прокурор. — Ах, хороша!..

— Илья, подкормку что не возил! — вдруг заорал управляющий и исчез за кустами.

Было слышно, как он остановил телегу, принялся ругаться, требуя поворачивать обратно, захватить какого-то Мотьку, что он знать не знает, почему они, мудрецы, полдня ищут в лесу кобылу, а подкормка до сих пор не привезена.

Телега заскрипела, поехала обратно. Савин, красный, сердитый, вернулся, походил вокруг и предложил:

— А может, если хотите, малины?..

— Где малина у вас? — с интересом спросил прокурор.

— У меня в огороде растет немного, детей нет, одни насекомые ее едят.

— Что ж раньше не сказал! — обиделся Крабов, вытирая руки гимнастеркой. — Вишь, сначала кислятиной накормил, Плюшкин.

Управляющий развел руками, улыбнулся.

Все трое опять гуськом пошли по берегу, но быстрее, чем прежде, и теперь впереди шел прокурор, спрашивая: «Куда? Сюда? Сюда?», за ним четко вышагивал Крабов, а управляющий плелся последним.

Они пролезли через дыру в заборе и очутились в дальнем конце огорода Савина. За яблонями виднелась соломенная крыша его избы. Вдоль изгороди сплошным кустарником росла малина — роскошная, густая, но кое-где пополам с крапивой.

— Ах, да хороша малина! — воскликнул прокурор, немедленно забираясь в самую гущу кустов и набирая на шляпу паутины, сухих листьев. — Крабов! Крабов! Нет, это чудо, это не малина, это чудо. Я помню детство... Вот так мы... М-м...

— А вот у меня, знаете... удивительный случай. Это было в войну... Шли мы уже по Эстонии... — начал было рассказывать Крабов с полным ртом.

Но по листе хлестко ударил дождь. Неведомо откуда, когда и как на небе оказались седые низкие тучи, солнце еще не скрывалось, а дождь уже хлынул, залопотал, заиграл, и — недаром парило! — раскатились, ~~идя~~ нагоняя другой, разряды грома.

Савин и Крабов бросились под густой вяз, листва которого сразу зашумела, как водопад. Но Попелюшко только глубже нахлобучил шляпу. Он не мог уйти; поправляя мокрые, сползающие очки, он все рвал, отправлял в рот сочные, ни с чем не сравнимые ягоды. Савин и Крабов кричали ему, звали под дерево, а он только отмахивался.

Под вязом же было уютно, как в шалаше; бегали вверх и вниз муравьи.

— Вы славно живете, как при коммунизме, — сказал Крабов. — Общественные вишни, уток не воруют, и малину никто не ест.

— Ну, этого добра у нас есть, — уклончиво отвечал Савин. — Хорош дождичек, на картошку...

— Да, для картошки хорошо... для всего хорошо. Мотоцикл я собирался мыть, а вот теперь и не надо.

— Пьянствуют у нас, вот где бич, — вдруг сказал Савин. — Культура низка. Бьюсь, бьюсь, невыходы на работу, драки, понимаете, вроде вчерашней, счета всякие личные. Ох, кажется, долго еще с этим жить...

— Мда...

Они постояли молча, наблюдая за прокурором. Сквозь листву просочилась и капнула первая капля.

— А! —махнул рукой начальник милиции и полез под дождь, в мокрые кусты.— У, вот где она свежа!

Чтобы не оставаться одному, управляющий, поеживаясь, тоже вышел, сорвал две-три ягодки, потом разохотился, стал выбирать.

— С того краю заходите, там должна быть ничего!

А прокурор, поливаемый дождем, рвал горстями, спешил, чавкал, он прямо-таки пришел в какое-то иступление; от кисло-сладкого вкуса ягод пробирала дрожь; его спина желтела под мокрой прилипшей рубахой, штанины были в респях и земле, со шляпы струйками текла вода, а он все пробирался, обжигался о крапиву, бранился, бросался к богатым, щедрым веткам:

— Ах, хороша малина! Ах, хороша!

— Да, может, в дом пойдём? — сказал управляющий, с улыбкой и жалостью глядя на желтую спину прокурора.

— Пойдем, пойдём! Сейчас...

Дождь, что называется, пришпарил.

Тут уж не выдержал и прокурор. Теряя тапочки, он тяжело побежал по картошке, а за ним начальник с управляющим.

Они ввалились в сени, хохочущие, толкаясь, как мальчишки; выяснилось, что прокурор бежал с сорванной веткой, которую общипывал на ходу.

— Вот это малина, ну и малина!

Разулись и принялись мыть ноги и сапоги под струйками, бежавшими с крыши на крыльцо.

— Пропала шляпа, теперь тебе жена всыплет, — сказал Крабов злорадно.

— А мы ее высушим, — жалобно сказал Попелюшко. — Вот бумаги понапишем и высушим.

Савин принес ворох районных газет, стал делать из них ком, но что-то обнаружил и вчитался.

— Что?

— Тьфу ты, — хмыкнул Савин. — Тут меня, оказывается, кроют... а я не читал. За какое это? Позавчерашня, что ли?

Начальник милиции расхохотался, раскатисто, с кашлем, захлебываясь от смеха:

— Его кроют... ах, ах... а он не читал! Ах, мать честная, его кроют, а он... не читал!

Савин смущенно изучал заметку, моргая глазами.

— И все неправильно, — с обидой заключил он. — Пишут!

Гости вошли в избу.

Сперва была совсем голая — только грубый стол да скамейки — маленькая комнатуха, и, полагая, что это пустая боковушка, гости прошли дальше, но там была узкая промежуточная комната поменьше, без стульев, заваленная мешками, какими-то приборами и пучками овса, пшеницы, трав; они толкнулись еще дальше, но войти не смогли, ибо дальше была только клетушка, вся заполненная двуспальной кроватью, — ею изба кончалась, поэтому им, несколько сконфуженным, пришлось вернуться в первую комнату, принятую за пустую боковушку, но которая, оказывается, была главной и парадной комнатой дома, а также столовой, судя по валявшимся на столе коркам и обгрызенным костям.

Пол давно не подметался, на подоконнике валялись дохлые мухи, и вообще во всем виднелось то унылое запустение, какое способны разводить, кажется, только одни немолодые мужчины без жен.

— Хотите мяса поесть? — спросил хозяин, открывая печь.

В печи оказался примус, на нем большой чугунок с каким-то мутным варевом. Гости отказались.

— А то давайте, — радушно предлагал Савин, извлекая из чугуна едва ли не целый бараний бок. — Жена гостит второй месяц у родных, а я, как умею, готовлю себе пропитание: знаете, мясо беру, водой залил, соли туда — и ничего...

— А у вас, я погляжу, рабочие лучше начальства живут, — покачал головой Крабов. — Теснота...

— Рабочие есть и зарабатывают поболее моего, а кроме того, мы строимся, там, по-над балочкой, целая улица, полдома нам достанется, так неохота уж возиться тут, устраиваться. Жену отправил отдыхать, а мне одному просторно.

— Моя жена вечно в городе сидит, — вздохнул Попелюшко. — У тебя детей нет, твоей просто, махнула

себе, а ты барана сварил в горшке, обглодал — порядок.

— А у вас много детей?

— Восемь.

— У-у, — промычал Савин.

— Старшие трое в лагере, скоро вернутся.

— Однако силен, бродяга, — сказал Крабов. — У меня двое, и то... Но жена у меня, хлопцы, славная, ах, какая у меня жена! А вот у него — ведьма.

— Ну, допустим! — обиделся прокурор; ему захотелось тоже похвастать женой, и он сказал: — Она у меня красивая, захотела сбросить десять кило — и сбросила, не то что я.

— С такой оравой и тридцать кило сбросишь, — заметил Крабов.

— Детей бы на лето в деревню вывозить, — мечтательно сказал Попелюшко. — Чтобы они на вишни лазили.

Савин, улыбаясь, встал и открыл окошко. В него влетел свежий воздух с дождевой пылью, вкусный, как вода из колодца. На дворе быстро темнело, только польхали молнии. Савин пощелкал выключателем.

— Вот же мудрецы — как гроза, выключают свет.

— Может, в этом есть какой-то смысл?

— Какой там смысл! Невежество.

— Однако! — встревожился прокурор. — Как же мы теперь поедим?

Дождь продолжался затяжной, и было ясно, что сумерки, пришедшие с ним, уже не разойдутся, а дороги развезены и затоплены.

— Ночуйте у меня, — предложил Савин.

— У меня завтра суд, — сказал прокурор. — Слушается серьезное дело, мне надо, хоть расшибись.

— А мне к восьми на службу.

— Да всем надо, — сказал Савин. — Меня вон в сельхозотдел вызывают зачем-то.

— Греть будут?

— Наверное...

— Нет, но как же мы поедим?

— Да вы спите у меня, — беззаботно сказал управляющий. — В два часа ночи за мной придет машина,

я вас разбуджу, и вместе поедем. Учитывая дорогу, к восьми доберемся, а застрянем — скопом вытащим; видите, даже двойная выгода.

И, видя, что гости заколебались, добавил:

— О мотоцикле не беспокойтесь, хлопцы починят, а потом подошлете милиционера.

Крабову очень не улыбалось ехать на мотоцикле ночью, в грязь, по незнакомым дорогам, и он сообразил, что, как начнут биться в колдобинах, коляска под прокурором точно сломается.

— Идет, — сказал он. — Где у тебя сапоги высушить?

Они развесили мокрую одежду на печке. Попелюшко и Крабов легли вдвоем на хозяйскую кровать, и хотя кровать была двухспальная, им было тесно при прокурорской ширине. Савин накинул дождевик и куда-то ушел.

Некоторое время лежали молча. Но каждый затаился, боясь потревожить соседа, и знал, что сосед также не спит, а думает о чем-то. И так они думали, думали...

Вдруг сквозь шорох дождя донесся отчаянный гам, выкрики, скрежет, и опять Крабов вздрогнул, но вспомнил, что это крик утиноного народа, что их, наверное, кормят на верхнем пруду, но было странно, почему их кормят в темноте. Вспомнил хромого сторожа и подумал, что охрана никуда не годится, но, раз управляющий так уверен, значит, так можно, и взводы сторожей, так же, как и милиция, здесь не надобны, и это почему-то его оскорбляло.

— Ну тебя к черту, давай валетом, — сказал Крабов и, забрав подушку, перекатился к другой спинке. — Габариты у тебя!

Попелюшко глубоко вздохнул.

— Жена, наверное, с ума сходит... — задумчиво сказал он.

— Моя приучена, — грубо сказал Крабов. — Семнадцатый год, бедняга, со мной мается, привыкла... Ты знаешь, ведь она у меня эстонка, — зачем-то добавил он.

Затихший было печальный утиный крик возобно-

вился с новой силой. Молния вспыхивала, но уже беззвучно: вероятно, гроза удалялась. Тикали не замеченные прежде ходики. Вдвоем в постели было жарко.

— Вот, послушай, я тебе армянскую загадку задам, — сказал, побряхтывая, Крабов. — Снизу пух, а сверху страх.

— Отстань, — буркнул Попелюшко.

— Прокурор лежит на перине! — с торжеством сообщил Крабов. — А теперь такую: вокруг вода, посредине закон.

— Прокурор купается, — сердито сказал Попелюшко. — А ты дурак.

— А, ты знал, — разочарованно протянул Крабов.

— Вот я тебе про милицию загадаю, — рассердился прокурор.

— Про милицию много анекдотов, неинтересно...

— То-то и помолчал бы.

Помолчав, они заснули, и время от времени прокурор чувствовал, как острые коленки начальника милиции препротивно бьют его в мягкий нежный живот. «И чего бы сучить!» — возмутился он во сне и обижался до слез.

Сквозь сон же он слышал, как приходил Савин, подтягивал гирю на часах, о чем-то озабоченно говорил с Крабовым. И так повторялось много-много раз. Савин приходил, уходил, а у прокурора не было сил проснуться и узнать, в чем дело.

Наконец он почувствовал прохладу и невыразимо сладостную долгожданную свободу. Приоткрыв один глаз, он не обнаружил на кровати соседа. Содрав с Попелюшко одеяло и завернувшись в него, Крабов спал на полу. Прокурор с наслаждением захватил всю кровать руками и ногами и по-настоящему вкусно заснул.

— Ну, вставайте, транспорт пришел, — сказал Савин.

— А ты сам где спал? — кряхтя и морщась от света, спросил Крабов.

— Я не спал, замотался совсем. Тысячу уток погрузили.

— Дня тебе нету.

— День-то я в основном с вами ухлопал, — добро-

душно сказал Савин. — Тут же звонят с мясокомбината: давай тысячу.

— Завтра бы отвез, — зевнул Крабов.

— Ага, еще другие захватят. Тут ее не то вырастить, тут ее сдать — вот проблема. Комбинат мал, не перерабатывает. А они у меня в сутки едва не машину комбикорма жрут.

Сонные, недовольные друг другом, гости оделись, вышли, поживаясь, на крыльцо и остановились, пораженные: непогоды и следа не осталось.

Небо было фиолетово-черное, без единого облака, потому что всюду, куда ни глянь, мерцали яркие, объемные звезды, одна поближе, другая подальше, а великолепный Млечный Путь с его неведомыми мирами — уж совсем в невообразимой дали.

И было свежо, бодро, дышалось легко, как в юности. Из тьмы показался огненный глаз, он исчезал за деревьями, блуждал, сопровождаемый лаем собак, раздвоился на два глаза, выскочил совсем рядом и с рокотом мотора остановился перед крыльцом. И было приятно, что это он к ним приехал, что это он их повезет.

— Зоотехник здесь? — спросил Савин.

— Здесь я... — отозвался молоденький женский голос из кабины.

— А сена я полкопешки бросил, — говорил шофер. — Через Полетаевку поедем или через Клины?

— Лучше давай через Клины, да не очень гони — мы поспим немного.

Гости приблизились, но с недоумением остановились перед транспортом. Это был обшарпанный, выдавший виды совхозный грузовик. В кузове скамеек не имелось.

Собственно, согласно правилам ОРУДа, так не разрешалось ехать, и начальнику милиции уж конечно это было известно. Но кузов доверху был забит пахучим свежескошенным сеном, трое мужчин провалились и потонули в нем; Крабов и Попелюшко ползали на коленях, не понимая, как же пристроиться: сидеть ли потурецки, лежать ли на боку, либо на спине, — а грузовик тронулся, и они повалились друг на друга.

— Очень славно, очень мило, — сказал прокурор,

отыскивая очки. — Признаться, я лет сто не ездил на сене.

— Ну, — сказал Савин, — до начальства высоко, до города далеко, я спать буду. И вам советую.

Он выгреб яму, подбил под голову, уткнулся в сено и сдержал слово: как лег, так сразу и уснул и не просыпался более, хотя грузовик прыгал, вскидывал задком и качался, как в море лодка.

Грузное тело прокурора все пришло в движение, оно тряслось и колыхалось, как кисельное, так что на ухабах забивало дух. Несмотря на это, он чувствовал в себе какой-то необычайный подъем, почти детский восторг.

Крабов лег на спину, заложил руки за голову, воображая, что ему покойно, и его острые колени мотались туда-сюда в такт раскачиваниям машины. А прокурор крутился, проваливался, сползал, наконец уцепился за борт, встал на колени и выглянул из-за кабины.

В лицо ему ударил ледяной встречный ветерок. Он увидел два длинных луча, бегущих перед радиатором, освещающих колею и лужицы воды. Но дорога в целом уже была суха, неправдоподобно белеса, с темными каемками травы, а по обеим сторонам стояла спелая рожь, которая вся вспыхивала, просвечивалась, когда фары нацеливались на нее, и даже васильки были отчетливо видны, почему-то светло-голубые в искусственном свете.

Впереди что-то ярко заблестело, как два изумруда, и не успел прокурор сообразить, что это были чьи-то глаза, как длинная тень зверька шмыгнула в рожь.

А вокруг была густая, фантазмагорическая тьма, казалось, ощутимая рукой, и грузовичок, как ножом, резал ее, эту тьму.

Коленям стало больно, прокурор выпустил борт, упал на спину, выпятив живот. Сено шуршало и покалывало сквозь рубашку. Он практически подумал, что, наверно, приедут в город не поздно, так что он успеет до суда забежать домой, позавтракать и даже вымыться в ванне.

— Послушай, а вон та звездочка, кажется, движется? — сказал Крабов, всматриваясь в небо.

— Где?

— Во-он та, сперва троечка, а она левее.

Прокурор долго смотрел на звезду.

— Нет, показалось тебе.

— Ничего мы не знаем, — сказал Крабов, — и звезды мы не знаем.

Прокурор лежал, озабоченно прислушиваясь, как в нем перемешиваются печенки с селезенками. Не то какая-то боль, не то какая-то обида беспокоила его, то ли просто было неудобно лежать.

— Нет, я не понимаю другого, — сказал он. — Я не понимаю, как это мы судим, сажаем под арест...

Он обрадовался, что Крабов не расслышал его и ничего не ответил; он не мог найти слов, чтобы выразить то сложное, мучительное чувство, которое навалилось на него и не отпускало.

Прошедший день был так прост и естествен, сено в машине было так пахуче, небо так бездонно. Жизнь была так полна, богата, хороша, что было неясно, почему обязательно надобно в ней кого-то судить, сажать под арест, отправлять в больницу, и прокурору показалось в эту минуту, что он — нет, не лишний, не то слово, а — странное явление в ней. Именно странное, положительно странное.

Эта мысль за всю его долгую практику ни разу не приходила ему в голову, а пришла сейчас, после той невыносимой жары августовского дня, общественных вишен (ах, хороши были вишни!), грозы, малины (малина была хороша!), в этой фантастической ночной поездке.

— Мы ассенизаторы, прокурор, — вдруг жестко сказал Крабов; оказывается, он расслышал. — Ассенизаторы и санитары. Вот и все относительно нас. Придет час, станем не нужны, никто нас не вспомнит. Кому до нас дело! Ну и на здоровье.

Он, по примеру управляющего, стал поглубже зарываться в сено.

— Да, да, конечно, — сказал Попелюшко. — Скажи мне: ты искренне веришь, что придет час?

— Верю, — зло буркнул Крабов. — А ты лучше спи. Ехать нам еще порядком.

Прокурор, не перенося больше тряски, опять уцепился за борт, выглянул из-за кабины и увидел все

то же: два луча, режущие беспроглядную тьму, светлую дорогу между двумя стенками ржи, белесые васильки.

Впрочем, ему почудилось, что впереди, там, где во тьме угадывался горизонт, небо чуть серело. Это могли быть огни города, мог быть и рассвет.

Подумав, прокурор сообразил, что до города с его благоустроенной квартирой еще порядком и порядком, что туда они приедут засветло, но что посеревшее небо, пожалуй, значило рассвет, первые признаки дня.

И это было так.



ДЕВОЧКИ

1

Они жили в Туманной долине вторую неделю. Казалось, что прибыли только вчера — быстро бежали дни, а все было неустроено и непрочно.

Долина обживалась недавно; кое-как сколоченные общежития оказались переполненными, и девушек поселили на берегу реки в шалатке, поставленной прямо на траве, безо всякого помоста.

Она была вместительная, как сарай. Внутри, в полутьме, стояли скверно отесанные столбы и ряды кроватей с никелированными спинками. В проходах положили доски. Под кроватями росла трава. У Наткиной постели покачивался желтый луговой цветочек — бледный, без запаха, с холодными блестящими лепестками.

Девушки повесили на брезентовые стены разные фотографии и открытки, запахло духами и утюгом. Клапаны окошек наглухо зашили в первый вечер, борясь с комарами; потому в палатке круглый день горела лампочка, подвешенная к столбу. На другом столбе кричал репродуктор.

Все они были москвичками, приехали по набору на строительство металлургического комбината. Они ожидали увидеть вырастающие корпуса, башенные краны, на самом же деле все оказалось не так.

Была огромная, поросшая густой травой и усеянная валунами горная страна. Такое им случалось видеть разве что в кинофильмах. Цепями стояли мрачные, до половины поросшие лесами сопки, и, если долго смотреть на них, кружилась голова и приходили почему-то суровые, невеселые мысли. Говорили, что там, в лесах, полно волков.

Обычно рано утром вершины загорались яркими факелами, внизу же продолжали лежать сырость и голубая полутьма. Сопки разгорались, солнечная лава ползла с них по осыпям в ущелья, мягко и бархатисто начинали светиться леса, а в долине долго еще лежала ледяная роса, и только часам к десяти над хребтом всходило усталое горячее солнце, принималось сушить землю, калять валуны. С солнцем оживала мошка и собиралась в серые, призрачные столбы, настойчиво-отчаянно преследовавшие людей и лошадей.

Откуда-то из ущелья, из голубоватого тумана вытекала узкая клокочущая река с прозрачной ледяной водой. Она цельным упругим валом скатывалась с порога, словно скатерть со стола, — и дальше шла прыгать, и беситься, и дробиться на лежащих в русле скалах. Прорвавшись сквозь них, она, злая, сизо-черная от волн, широко разливалась — и где-то вдали исчезала в порогах и отрогах гор.

Эти пороги наполняли долину вечным равномерным шумом — так шумит на ветру сосновый бор. Иногда сквозь него слышались глухие пушечные удары. Засыпая, девушки слышали, как от ударов гудит и вздрагивает земля под ножками кроватей.

До порогов снизу ходили катера. Выше пробиться

они не могли, выгружали людей прямо на прибрежный луг и уходили обратно.

Первые три дня рыли глубокую траншею. Земля была твердая, пополам с галькой, о нее скрежетали и гнулись лопаты. Докопались до воды и остановились. Стали выгружать доски, убирать валуны. Кое-кто ходил с перевязанными ладонями. А по вечерам под гул порогов Натка втихомолку скулила от жуткого безотчетного чувства.

Прежде Натка была токарем на «Красном пролетарии», неплохим токарем. Жилось ей, впрочем, не очень важно. Отец вторично женился, дети не ладили с мачехой. Спрятаться, чтобы ее не видеть, некуда — комната одна. Старший брат женился, родился ребенок, и стало совсем невмоготу. Натка с седьмого класса ушла на завод, зарабатывала уже девяносто — сто рублей. Тут стали звать на стройки Сибири, и многие собирались в путь. Натка прикинула так и этак — и тоже записалась. Был шумный, скандальный разговор с мачехой, когда Натка обстоятельно и злобно выложила все, что она думала. Кстати, пусть поживет теперь без ее девяноста — ста рублей. Наутро устраивались заводские проводы, с музыкой, цветами и речами. Сотню рублей выдали подъемных. От дирекции подарили Натке модельные туфли, а девчонки не знали и — от себя, вскладчину — купили ей другие туфли, на микропоре, так что у нее оказалось две пары новых туфель.

Но обидно, что здесь надевать их некуда. Всюду сырость, машины разъездили дороги до глубокой грязи, и рабочие ходили в больших резиновых сапогах, выданных из кладовой.

Натке достались сапоги уже кем-то ношенные, потертые и с дыркой повыше щиколотки. Каждый вечер, стаскивая их, она осматривала дыру, мечтая, что она станет шире. Тогда она пошла бы и потребовала сменить. Но резина не рвалась: видно, дыру пропорол случайно каким-то острым предметом, — может, даже человек опасно поранился, и Натке было жаль его, но в то же время она осуждала его за то, что вот такие крепкие еще сапоги он пробил, и теперь у всех сапоги целые, а ей достались дырявые.

Она была предусмотрительной девушкой, привезла валенки, куски фланели на портянки (которые сразу же ах как пригодились!), привезла и кастрюльку и еще кое-что из посуды, два теплых платка, варежки, шесть пар чулок, узел белья — в общем, набралось две большие корзины и чемодан, которые хранились под кроватью.

Соседкой Натки справа была Тамара — сероглазая полненькая девочка семнадцати лет, Она была прямо из школы, ничего не знала, не умела, разбила руки в кровь, и они у нее были перевязаны бинтами, которые вечно пачкались. Натка научила ее заворачивать портянки, иначе она и ноги разбила бы.

Тамара рассказывала, как она навсегда поссорилась с мамой, но настояла на своем, потому что на стройки решил поехать весь класс, целиком, без дезертиров. Мама причитала и провожала ее, как покойницу, а сейчас просит в письме писать ей каждый день хоть две строчки, и, наверное, она там глаза проплакала. Конечно, жалко маму.

Вечерами, устало укладываясь первой, Тамара долго не могла уснуть, ворочалась, накрывалась одеялом с головой и вздыхала. Может, потому, что допоздна горел свет и девчонки шумели, поссорились или рассказывали анекдоты. Но Натке казалось, что ее соседке страшно и одиноко, и она, наверное, думает о прежней жизни, о том, как она стлупила, что поддалась наивному порыву и оставила дом.

Самой Натке не приходилось с сожалением думать о доме, но вот уж седьмой день, как ей тоже неуютно и одиноко.

Соседкой слева была Валя, контролер с фабрики резиновой обуви. Это была красавица — высокая, белокурая, ширококостная, со смелым вызывающим взглядом умных карих глаз. Она ни черта не боялась, глубоким сочным голосом пела модные песенки, одевалась и причесывалась, как попало, но ей шло все, и шоферы, возившие доски, приставали к ней, в палатку же вечерами ходили чередой, как мотыльки на свет.

Валька не привезла ни вещей, ни посуды, но уже кто-то приволок ей огромный армейский котел; она

велела всем складываться и по очереди бегать в лавку за макаронами, сама же варила суп для всей палатки на маленькой плите, которую под ее руководством сложили из валунов ребята-каменщики. Плита стояла во дворе перед входом, весело дымила в закатное небо и отгоняла мошку. Ухажеры Валькины собирали по берегу щепки и шуровали в топке.

Из-за этих вечерних гостей жизнь в палатке весьма осложнялась. Ребята приносили гармошку, пиликали до двенадцати часов, юрили шелухой орешков, травили разные истории, хвастались наперебой и поддевали друг дружку перед Валькой, а она умело парировала их шутки и приказывала — одному сбежать за водой, другому натереть песком вилки, третьему подбить туфли.

Палатка была как проходной двор: ни вымыться, ни отдохнуть. Девушки догадались завесить простынями угол и уходили туда переодеваться, иначе так и пришлось бы весь вечер сидеть в комбинезоне и сапогах.

Когда же гости, возымев наконец совесть, убирались восвояси и гасился свет, кто-нибудь в темноте начинал:

— Девчонки, а этот черненький вроде ничего, а?

— Господи, уж загляделась, счастье какое, кривоногое, да у него жена в Рязани.

— Кто тебе сказал?

— А сам проговорился, разве ты не заметила?

— Не ври, Сонька, ничего такого он не говорил.

— Ага! Все они женатые, только прикидываются дурочками!

— Ой, девчонки, как вам не стыдно, только приехали, а уже про замуж думаете.

— Это Валька думает, навела их сюда. Они ей «Валечка, Валечка», а она, дурочка, рада!

— Эй, ты, не твое дело. Или завидно?

— Господи, стала бы я завидовать! Я в ярмо не тороплюсь, это тебе замуж не терпится, аж скачется.

— Ученые написали, — голос Вали начинал звучать язвительно, — что выходить замуж не противопоказано. Между прочим, все выйдете замуж, до единой и — раньше меня. Спорим?

Обычно после этого разгорался спор, не утихавший по часу. И уже в тишине, засыпая, кто-нибудь добавлял:

— Лешка сегодня сказал, что в воскресенье будут танцы.

— Что?

— Где?

— Правда?

Все приятно взбудораживались, и опять Тамара скрипела сеткой, Натка плотно втискивала уши в подушку, слушала тревожный грохот порогов и дрожание земли, но, впрочем, краем уха нет-нет да и улавливала разговор: ведь все же интересно, а где будут танцы?

2

Поначалу, видимо, им не могли найти определенного занятия. После досок поставили вязать арматуру. Тут был мастер Прокофий Груздь — крикливый, суматошный и неприятный человек. Он привел всю вереницу девиц на вытопанную площадку, что-то накричал, потыкал руками в проволоку, кому-то объяснил, кому-то не успел, его позвали на растворный узел, он взмахнул руками и скрылся.

Вытопанная площадка именовалась береговым полигоном; трое пожилых бетонщиков ютились на ней брусья с хвостиками на концах. Они очень уважали себя, молчаливые, чем-то похожие на колдунов. Им требовались проволочные клетки для брусьев, много клеток, и девушки стали пытаться делать эти клетки.

Мало кто умел обращаться с проволокой. Она была упругая и вырывалась из рук. Клетки получались до смешного кривые. Бетонщики презрительно злились: тоже, прислали бабью команду... А мошка свирепствовала в этот день сильнее, чем прежде, — видно, здорово изголодалась. Девушки завязали лица платками, так что только глаза светились, но мошка набивалась под платок, в рукавицы — и жалила.

Часов в одиннадцать подъехал на машине молодой незнакомый инженер. Он, вероятно, направлялся на противоположный берег. Но катер не подходил, и инженер стал смотреть, как девушки вяжут.

— Кто вас учил? — недоуменно спросил он Тама-

ру. — Зачем вы связываете все узлы? Это, девушка, бессмысленная работа, достаточно здесь и здесь...

— Нам мастер так велел! — Валя стрельнула глазами и сдвинула платок до подбородка.

— А вот я ему скажу, чтобы не задавал глупостей, — чему-то улыбнувшись, невозмутимо сказал инженер. — Эти узлы не работают. И вообще такие штуки делают по шаблону. Смотрите.

Он поднял кусок доски и по-мужски сильно, ловко намотал вокруг нее виток. Получился ровный прямоугольник.

Девушки окружили его, а инженер показывал, подробно объяснял, как детям, может быть, чересчур подробно, вежливо и даже ласково, чему-то про себя усмехаясь. У него были худые обветренные скулы, тонкий интеллигентный рот, гладко выбритый подбородок и шрам под левым глазом. Когда девушки обзавелись досками, он сразу потерял к ним всякий интерес, устал сел на краешке бревна подле Натки и закурил.

Натка рубила проволоку зубилом на конце рельса. Для бывшего токаря работа была, конечно, левая, у нее высилась гора задела. Натка перешибала проволоку одним ударом.

— Вы все-таки осторожнее пальцы, — заметил инженер.

— Ха, — сказала Натка. — Я когда была в заводе, не то делала. А тут разве работа... Один смех.

— Это очень хорошо, что вы опытная рабочая, — сказал инженер.

И Натке стало приятно его одобрение, настолько, что она решила еще похвалиться, и, отложив зубило, она рассказала, как была токарем на «Красном пролетарии», зарабатывала девяносто — сто рублей, ее в цехе любили, а провожали с музыкой и цветами, подарили лично от дирекции модельные туфли, а девчонки купили вторые туфли, на микропоре, и еще ей выдали сотню рублей подъемных.

— Вы богачка! — улыбнулся инженер.

— Совсем нет... — искренне вздохнула Натка. — Знаете, еще в Москве столько почитать пришлось. Валенки надо? Надо. Варешки надо? Сумку луку я при-

везла, — говорят, что от цинги надо... Скажите, правда?

— Лук у нас в магазине есть.

— Да? Значит, напрасно... — вздохнула Натка. — Ну, все равно, ехали, на станциях, знаете, все покупали, и семечки покупали, и конфеты, и мороженое, а я себе купила часики «Звезда». Как вы думаете, хорошие?

Она сняла рукавицу с левой руки, закатала толстый рукав тужурки и кокетливо поблестела часами.

— «Звезда» — прочные часы, — задумчиво сказал инженер. — У моего друга есть «Звезда». Они ходят без ремонта восьмой год.

— Ну, значит, я правильно выбрала, — облегченно сказала Натка. — Только денег не осталось. Жалко. Была целая сотня...

— Ничего, вам будут платить, — мягко успокоил инженер. — Вы давно уже работаете?

— Десятый день.

— Мда... Но не очень трудно?

— Не очень, только...

— Что?

— Ничего.

— А все-таки?

Он смотрел внимательно, сочувственно, и Натка вдруг выпалила:

— А! Не знаю... Зачем я только поехала? Зачем? Там я знала свое рабочее место, там у меня каждая пряпочка на месте лежала, каждая шайбочка протерта, меня хвалили, в газете писали, да, а что вы думаете! — Она взглянула, ожидая, что инженер не поверит, но он смотрел сочувственно и грустно, и она бессвязно-взволнованно продолжала: — Ночью, бывало, лежу и думаю, как мне завтра лучше работать, какой мне резец поставить... а тут заснуть не заснешь, землю копаем, сырость в палатке, а говорят, зима придет — ой-ой! Знаете, какие тут зимы! Жила бы себе в Москве, и прописка московская была. Говорил отец: «Подожди, квартиру дадут», — а как их ждать, когда они все равно себе заберут, а я как пятое колесо. Пятое колесо, да и то лучше, чем в палатке. Лучше уж пожила бы в Москве,

а то потащилаась сюда, и чего меня понесло, чего я тут не видела, ду-ра!..

И ей так стало жаль себя, она словно впервые увидела эти ужасные дикие горы в мрачном тумане, эту злую ледяную реку, взбешенную порогами, раскиданные по берегу бревна, палатки под открытым небом — и среди всего этого себя, бесприютную, слабую, беспомощную, где-то далеко-далеко в Сибири, где все не такое, как дома, даже время иное, — сейчас вот скоро полдень, а в Москве дорогие ее девчонки лишь просыпаются, собираются на завод...

— Ничего... ничего, — мягко и сочувственно сказал инженер. — Все уладится. Палатки — это вынужденная посадка. Вот строятся дома, вас переведут. А зима не страшна. Правда, морозы бывают большие, но тогда мы не работаем.

Натка вскрикнула, закрыла лицо и заплакала. Она не то хотела сказать, не о палатке и морозах, а он так понял. Она не умела сказать, слова рвались бестолковые, она не умела и не знала, как высказать, но ей было страшно и неудобно, она чувствовала себя беззащитной, да, беззащитной, и вот уже неделю крепилась, а тут вдруг перед незнакомым инженером разоткровенничалась, — и она досадовала на себя за это, а слезы полились еще пуще.

— Вот те раз, зачем же плакать? — тихо и серьезно сказал инженер. — Вы ведь рабочий человек, токарь с «Красного пролетария». Все пройдет, и вы увидите, что тут не так уж плохо, даже наоборот. Правда. Вот я тоже москвич и тоже скучаю...

— Где вы жили? — капризно спросила Натка, чтобы перевести разговор; слово «жили» она произнесла так, словно говорила о чудесном, сказочном мире, утраченном навсегда и для нее и для него.

— Я жил у Никитских ворот. Как раз напротив памятника Тимирязеву.

— Где магазин?

— Да, внизу магазин.

— А я жила на Таганке. В Большом Дровяном проулке... У нас там квартира.

Вздохнув, Натка утерлась и взялась за проволоку.

— Скажите, пожалуйста, а здесь вечерняя школа есть? — спросила она, не отрываясь от работы.

— Вечерняя в этом году должна быть.

— У меня семь классов. Я и учебники привезла: «Химию», «Физику», «Географию», тетрадей сорок штук...

— Умница. Без учебы в наш век науки нельзя жить, — сказал инженер и посмотрел на часы. — Школа должна быть, обязательно должна быть...

Натка, казалось, совсем успокоилась. Она кокетливо взглянула на инженера:

— Скажите, пожалуйста, а это правда, что в воскресенье танцы?

— Вот уж не знаю, — улыбнулся он, поднялся и пошел на причал.

Ухарски раскачиваясь и пыхая сизым дымком, подходил катер. Инженер ловко прыгнул на нос и сразу стал что-то громко доказывать похожему на пирата мотористу, а катер, не задерживаясь, умчался вниз по реке, туда, где розовели какие-то непонятные длинные строения.

3

Перед обедом трактор притащил ворох мотков проволоки на искореженном железном листе. Тракторист был тощий, длинноносый, с нахальными глазами; девушки видели его в первый раз.

— Здравствуй, милая, кареглазонька! — крикнул он Вале. — Давно не виделись! Принимай эти макароны, что ли!

— Здравствуй да проваливай, — бодро отвечала Валя.

— Что земляка-то гонишь?

— Ох да земляк, ай ты не из Сухова ли Корыта, милоч?

— Вот те, не упомяла меня! Вспомни, как на Курской дуге вместе в окопах мерзли!

— Что-то ты похудел с тех пор.

— Заботиться, девочки, некому, никто за меня замуж нейдет, недоедаю все, вот и худею.

— Бедненький, что ж ты жену-то бросил? Алименты шлешь? Небось будешь недоедать.

Девчонки даже завизжали от восторга, растаскивая мотки. Тракторист приглушил мотор, спрыгнул, добродушно улыбаясь, достал мешочек — хлеб, яблоко, бутылка молока.

Где-то трезвонили в рельс — на обед.

Натка не пошла в шумный кружок, собравшийся вокруг тракториста. «Тоже, нашелся петух, — презрительно подумала она, — а они уже и прилипли как мухи».

Она распрямила затекшую спину, постояла так с минуту, глядя в холодное, подернутое дымкой небо. Потом взяла свой узелок, прыгая с камешка на камешек, спустилась к реке и зачерпнула в чашку воды.

Чашка была домашняя, потертая внутри, на ней был нарисован пруд с лодкой, вокруг него веселенькие домики с острыми крышами и даже колоколенка с грачами. Впрочем, вместо грачей были только черточки, но, наверное, это были грачи.

Почему она не пошла в столовую? Потому что столовая была далеко от берега, весь перерыв убьешь на дорогу, да еще в очереди настоишься. Натка стала есть булку с конфетами и запивать водой из чашки. Кроме булки и конфет она ничего не успела утром купить. Но она не огорчалась. Она была сластена и обожала конфеты — не те, что большие, мягкие, а которые маленькие, твердые — подушечки, драже например. Или «морские камешки». Она могла съесть их хоть полкило.

Натка жевала, а мысли ее уже вертелись вокруг вечера: надо пересмотреть лук, не начал ли прорастать. Лук это такой овощ — чуть не доглядишь, уже пошел выпускать стрелки, в палатке же он лежит на сырой земле.

Потом надо выстирать рубашку и лифчик, а где взять корыто, а где сушить? Очень неприлично повесить их вот так, на виду, когда в палатку без конца ходят мужчины. Дома забросила бы на веревку в ванной — и дело с концом. А тут сушилки нет, и комбинезон, и сапоги натягиваешь сырые... Она подняла ногу и осмотрела левый сапог. Дырка не увеличилась.

За ее спиной кто-то длинно и жалобно высморкался. Вздвигнув, Натка обернулась. Чуть повыше, на камне, сидела Тамара с недоеденным бутербродом в руке. Сверху слышался смех и визг. Вот дурехи!..

Натка пожевала булку, еще раз оглянулась. Тамара так и сидела с надкушенным бутербродом, смотрела на бегущую воду.

— Болят руки? — спросила Натка и, не дожидаясь ответа, беззаботно объяснила: — А! Они всегда поначалу болят, негодные. Я когда пришла в завод, ой-ой как уставала, и все косточки болели, приду, лягу, а сама думаю: как же я завтра пойду? А потом хорошо. И позабыла даже, что было плохо.

— Я не боюсь их трудностей! — вдруг горячо сказала Тамара. — Я так и писала, что не боюсь! Ну и что ж, что палатка, мошка, — испугали! Я не играть ехала, да! Но когда они так относятся... Что он, прибежал, накричал, ткнул — делай как хочешь... Я не знаю, что надо вязать, а что не надо вязать. Это несправедливо! Я не виновата, что еще не умею. Они сами не знают, что им нужно. Один говорит так, другой не так, одному узлы, другому не надо узлы! Только и знают: «Палатки — это вынужденная посадка»! И столовая за пять верст — тоже «вынужденная посадка», а сами дома едят, у них голова не болит, а вы живите, как хотите, на «вынужденных посадках», а вечером Прошка примчится: «И что такое, что-то вы мало сделали, девочки, ма-ало! Да пло-охо!»

— В Прошкино положение тоже войти... — рассудительно вздохнула Натка. — И с него небось спрашивают. Вон у нас в заводе мастер — так он знает свое место, свой цех, и конторка у него стеклянная; побежишь, бывало, спросишь: «Дядя Леня, вот такое дело, то-то и то-то». А здесь... мечется угорелый, один на весь участок.

— Я не думала, я и вообразить не могла такое... безобразие! — воскликнула Тамара, и голос ее задрожал. — Зачем вы нас звали, если сами не знаете, что с нами делать! Мы не просились, вы сами звали, красивые слова писали! Слова!..

— Тамаронька, это все поначалу, — неуверенно ска-

зала Натка, — а потом все уладится. Я думаю, что уладится. . .

— Мамочка моя, мамочка! — вскрикнула Тамара и закрыла глаза ладонью. — Не пускала меня, говорила: «Ой, каяться будешь». Ой, как ты была права!

И она зарыдала, уткнувшись в платок, а надкушенный хлеб с колбасой так и держала в руке. Кружок колбасы свалился в траву.

Натка подхватила свой узелок и пересела выше. Отобрав бутерброд, она стала вытирать Тamarкино лицо, приговаривая, как над ребенком:

— Ну не плачь, деточка, вот глупенькая, еще и двух недель не прожила, а испугалась. И не стыдно тебе? А мы, Тамара, не бессловесные! Вот мы посмотрим, посмотрим, а чуть что — пойдем и нажались куда следует. Право слово! Мы не нанимались без столовой работать. Захотим — и уедем даже, и никто нас не удержит.

Она заведомо говорила неправду. Она знала, что не уедет, что она комсомолка и вызвалась сама, и нет ей возврата в Москву без позора, после всего, что было, после тех проводов, а также после ссоры с мачехой. Ах, как все сплелось! . .

— Вот негодники, погляди-ко, в речке купаются, — хитро стала она отвлекать внимание. — Ну, не плачь, ну, посмотри, какие отчаянные! Вот головорезы! Вода-то ледяная, а они купаются.

— Где? — Тамарка начала сморкаться, вытирать покрасневший нос.

— Да вон полезли. Ву-уй, как им не холодно!

— Сумасшедшие, — презрительно сказала Тамара и, вздыхая, стала дожевывать свой бутерброд.

4

Купальщики заходили в воду у самых порогов. Там вода бурлила, кипела. Поэтому никто не рисковал плавать, а только окунались, барахтались и выскакивали, ошпаренные, торопились натянуть рубахи, не попадали в рукава — и зуб на зуб не попадает, и мошка набрасывается озверелая.

Пришел худой долговязый парень со светлой лобастой головой, остриженной под машинку, совсем как солдатик. Он снял сапоги, рубаху и долго шлепал по воде широкими грубыми ступнями, плескал на лицо, на плечи, а штаны снимать не решался. Он был смешной. Его голое до пояса тело жгла мошка — а в воду не шел.

Потом все объяснилось просто. У него не было трусов. Испуганно оглядевшись по сторонам, он спустил штаны, и под ними оказались белые солдатские подштанники с тесемками. Он быстренько закатал их повыше, сколько мог. (Тамара стыдливо опустила глаза, а Натка жевала и глядела как ни в чем не бывало: будто ее братья не носили кальсоны, будто мало она их перестирала.) Ребята засмеялись над парнем, причем подтрунивали так, чтобы девушки слышали. Он что-то невнятно ответил и, зябко ежась, стал заходить все глубже — неумелый, бестолковый, как курица. Он долго примерялся и не решался окунуться, а на берегу все смеялись и припугивали. Натке стало жалко его. Хоть бы отважился, окунулся да скорее уходил.

Парень окунулся. Потом еще и еще, взвизгнул, фыркнул и поплыл.

Конечно, ему стало обидно, что над ним потешаются, потому он поплыл в самый опасный водоворот. У Натки сжалось сердце. Она почувствовала, что происходит нечто серьезное и вот так, по глупости могут сгубить человека. Она хотела окликнуть, но он бы не услышал за грохотом порогов. Голова парня очутилась на краю водоворота, скользнула в него и исчезла. Натка ахнула. Через минуту голова появилась уже за водоворотом. Парень плыл — в самой буче, в пене.

Вот же грех, ну возвращался бы уж, а то стукнет о камень!

На берегу перестали издеваться. Кто собрался уходить — и те оставались; все смотрели.

Голова ныряла за порогами, уже на самом стрежне. Ее быстро сносило.

Парень плыл не оглядываясь. Его вынесло на широкий простор, понесло все дальше и дальше, так что голова уже казалась едва заметной точкой; она то и дело исчезала за гребнями. Боясь потерять ее, Натка при-

встала и следила, как эта точка повернула к берегу и мучительно долго боролась с течением; она прибилась далеко-далеко к скале, и бесстрашный пловец выбрался на камни.

Натка и Тамара облегченно вздохнули. А парень в мокрых подштанниках рысцой побежал вдоль кромки, смешно подскакивая на острых камнях, прибежал искушенный и преследуемый темной тучей мошканы. Зайдя за куст, он стал переодеваться.

— А мы так переживали, что вы можете утонуть, — уважительно сказала Натка.

Парень промолчал, он выкрутил кальсоны и принялся мыть в воде свои сапоги.

— Хотите конфет? Как вас зовут? — спросила Натка.

Парень улыбнулся. Улыбка у него была добрая, трогательная; сам он был совсем молоденький, оттого, вероятно, такой долговязый, несуразный.

— Никитой звать, — хрипло ответил он, подрагивая от холода.

— А мы из Москвы приехали. А вы?

— Из Читы я.

— А вы в Москве бывали?

— Нет, не был.

— А мы в Чите не бывали. Скажите, а понему у вас в Сибири так много мошки?

— Это сезон. Скоро пройдет, вы не пугайтесь. Как придется: в одном году много, в другом нет. Вы, верно, недавно приехали?

— Да, мы недавно приехали. Первого числа из Москвы уехали, — вздохнула Натка и похвасталась: — Знаете, как нас провожали! С музыкой, с цветами! Вот Тамара — она из школы. А я работала токарем. На «Красном пролетарии». Как меня не хотели отпускать! Мне от дирекции лично подарили туфли — модельные, прекрасные туфли. А девочки купили другие туфли, на микропоре. Хорошие туфли.

Никита с интересом выслушал, но молчал. И, полагая, что ей не верят, Натка еще раз подчеркнула:

— Очень хорошие туфли, — и вздохнула.

Тамара перепуганно молчала, и Натке одной прихо-

дилось вести беседу. Она сообщила, что привезла — подумать только, какая наивная! — целую сумку луку. А что с ним теперь делать? И она привезла еще два выходных платья и два простых, ведь для начала это неплохо, правда? И валенки, варежки есть, два шерстяных платка.

— Ого! — хмыкнул Никита.

— Фи, а сколько у меня в Москве осталось! — прихвастнула Натка уж неизвестно зачем.

Просто она подумала, что ведь в самом деле у нее есть вся теплая одежда, и как это хорошо, что есть во что одеться, и пусть себе приходит студеная зима — то-то весело будет!

— У меня одеться вот так, вот так и вот так хватит, — она провела рукой сначала по шее, потом выше рта, потом над макушкой.

И ей впервые за эти дни вдруг стало так покойно, даже радостно. Все показалось очень красивым: эта река, пороги, даже лобастый Никита, бесстрашный пловец, который вон запросто перемахнет реку туда и обратно, коли захочет; сезон мошки, конечно, пройдет, а зима приятна, если есть валенки, пальто, платки шерстяные...

— Хотите, приходите к нам в гости! — от всей полноты хороших чувств пригласила она. — У нас девочки все из Москвы, такие славные, хорошие, правда, Тамара?

Покраснев, Тамара что-то пробормотала. Звенел рельс, и девушки поднялись. А Никита ушел, неся в руке скомканные мокрые подштанники. И Натка не знала, остался ли он доволен знакомством и придет ли вечером в палатку.

Ей хотелось, чтобы пришел.

5

Но он не пришел.

Не потому, что он не пришел, а вообще в силу разных глупых обстоятельств вечер получился тягостный и нудный. Ночью полил дождь.

Шумели пороги, и кровать вздрагивала от ударов воды. Шумел брезент палатки под дождем.

Девочки спали, и одна — толстая Верка из Останкина — громко, неприлично храпела. Ее очень угнетало то, что она во сне храпит, наверное, она боялась, что будущий муж разлюбит ее за это, она хотела отучиться, просила будить ее, но Натке жутко показалось выбраться из-под теплого одеяла, она лежала, широко раскрыв глаза, и прислушивалась к ударам порогов.

Бух-х! — это здорово плеснуло, даже звякнула металлическая шишечка кровати. Еще удар, как пушка... А что, если кто-нибудь плывет по реке и не знает, что впереди пороги, и легкую лодку швыряет в яму, и вот уже мелкие щепочки всплывают в водовороте, а человек... Но нет, кто же плавает ночью, да еще в такой дождь?

Натка закрыла глаза, стараясь уснуть, но перед ней сразу задвигалась бесконечная проволока, крутились мотки, вздрагивало зубило. Натка ударяла себя по пальцам, чего с ней никогда не случалось наяву, и со стоном просыпалась.

Вдруг она вспомнила сотню, полученную в Москве, и ей стало так жалко эту сотню, новенькую пачку денег, оклеенную бумажками с красными полосками, так бездумно потраченную на часики зачем-то, на конфеты и мороженое.

Нет, Натка никогда не копила деньги, как некоторые, скажем ее мачеха. Да она бы перестала себя уважать, будь хоть чуточку похожей на нее. Просто она зарабатывала хорошие деньги и никогда не тряслась над рублем, отдавала отцу и тратила на себя, не жалея. Она знала, что всегда заработает, как настоящий трудящийся человек.

А вот тут ей было невыносимо жаль сотни. Может быть, потому, что, имея она сейчас эти деньги, она не чувствовала бы себя такой беззащитной.

Но у нее оставалось пять рублей, а она в чужом краю, за тридцать земель от дома, и вот ей опять страшно.

Ох, как она жалела и упрекала себя за то, что не сберегла сотню, и на что ей нужны были эти часики!.. Глупая она, всегда была и осталась глупой. Седьмой класс кончила с тройкой по английскому, вместо восьмого

пошла на завод. А ведь без образования в наш век науки никак нельзя. Вот и перезабыла все, чему училась. «А что, если здесь школы не будет, что тогда?» Зачем она поехала в Сибирь, зачем? Дома и в школу можно было ходить. Подумаешь, мачеха, теснота, — да не палатка на сырой земле. И квартиру отцу скоро дадут. Прописку московскую потеряла. Все променяла, все променяла — на что?

Она вспомнила шумные проводы, медные трубы оркестра, себя на привокзальной площади — взволнованную, с горящими от удовольствия щеками, гордую и скромную, отважную. А подружки оставались. Они смотрели на нее с уважением. Ах, какой маленькой, какой наивной девочкой она была...

Ногам стало мокро. Натка приподнялась, пощупала: на одеяле стояла лужица. Вода просочилась сквозь брезент и капала быстро-быстро.

Дрожа от холода и возмущения, Натка вскочила и потянула кровать. Ножки увязли в земле, и она их на силу вырвала. Передвинув кровать вплотную к Тamarкиной, она выждала минутку — не каплет ли здесь, и забралась под одеяло: надо было согреться. Но тут она вспомнила, что теперь остались открытыми сумка с луком и все ее вещи, хранившиеся под кроватью. Хорошо, что еще вспомнила, растяпа! Она опять вскочила, принялась впотемках передвигать и совать под кровать узелки, чемодан, корзины. Пока шарила в мокрой траве, околочили руки, и неизвестно чем их вытереть.

Управившись с вещами, Натка легла в остывшую постель и чуть не застонала от холода и тоски.

Простыни были мокрые, жесткие, в воздухе стояла тяжелая сырость, темнота угнетала, весь мир был бесприютный, только и счастья в нем, что брезентовая протекающая палатка, да под кроватью кой-какая одежонка, две пары туфель, а сотню она потратила на мороженое. И за плечами семнадцать лет...

Она услышала, как тяжело вздохнула Тамара, и обрадовалась этому несказанно, как обрадовалась бы теплой печке. Она шепотом позвала:

— Тамар!..

— А?

— Ты почему это не спишь?

— А ты?

— А на меня целый фонтан полился. На тебя не каплет?

— Нет.

Натка протянула руку, нащупала горячий, полненький локоть Тамары. Невидимые забинтованные пальцы подруги сжали ее локоть.

— Ну и дождик, скажи, Том, а?

— Ага...

— А ты почему не спишь?

— Так... думаю.

— Не надо думать. Надо спать. Уже час ночи.

— Я не могу привыкнуть. В Москве сейчас только восемь вечера.

— В кино люди пошли...

— Ага.

— А у тебя мальчик в Москве был?

— Нет... — прошептала Тамара.

— А за мной ухаживали на заводе! — похвасталась Натка. — Скажи, а этот, Никита, тебе понравился?

— Не знаю.

— По-моему, он ничего, только больно какой-то... несуразный. Ну его! Правда?

Она совсем не то хотела сказать. Она не могла забыть, как ей стало тепло, какой она себя почувствовала опять смелой и отважной, познакомившись с Никитой. Ей хотелось сказать, что ведь вот он, наверное, тоже совсем один, еще и товарищи над ним посмеялись, а он не побоялся ничего, он серьезный и скромный, так просто объяснил, что и мошка пройдет, это только сезон, и вот сапоги начисто помыл, а все ходят в грязных. Только у него нет, наверное, никаких вещей; а она бы сумела сшить ему трусы для купания, чтобы не хихикали над ним разные зубоскалы. Она сказала «ну его» только от обиды, что он не пришел, а вообще ей так тепло и хорошо было думать о нем...

— Если у меня когда-нибудь будет муж, я не велю ему так далеко плавать, — сказала она. — Знаешь, ведь всякое бывает, могут схватить судороги.

— А я никогда не выйду замуж, — прошептала Тамара.

— Почему?

— Не хочу.

— Все выходят почему-то.

— А я не хочу!

— Ну, что ты. Наверно, надо...

— Что надо? Сидеть дома, ждать мужа, варить ему обед, он придет — на стол подавай; на базар ходить, пеленки стирать... Не хочу! Не выйду замуж! Ничего я не хочу! Ничего!

Натка озабоченно пощупала горящие Тамирины щеки.

— Я и сама не хочу, Том, я не знаю, — может, и я тоже еще не выйду, — она вздохнула. — Да и где теперь найдешь хорошего мужа? Такие теперь большая редкость...

Она погладила забинтованную руку, которая благодарно сжалась.

— В Москве за мной ухаживал один мальчик, пожениться даже предлагал, ничего себе, только уж такой... несерьезный, ну, форменный бандит. А я взяла и в Сибирь поехала. Лучше мы сами по себе тут будем жить, правда?

— Да... — рука дрогнула, пальцы разжались.

— Что с тобой?

— Натка, я боюсь. Я боюсь... — дрожащим голосом сказала Тамара. — Я отработаю все, отработаю три года и вернусь к маме. Вот увидишь, я вернусь. Только ты не покидай меня! Я все выдержу — и вернусь... Я вернусь...

Натка погладила влажные от сырости волосы по-други.

— Ничего... ничего, все уладится, — сказала она ласково. — Ты теперь большая, ты же теперь рабочий человек, и среднее образование имеешь.

— Я вернусь, я вернусь, — твердила Тамара.

— Ну, что «вернусь», Тамарочка, — сказала Натка. — Стыдись! Не реви, ну, конечно, мы отработаем все, а там посмотрим, как будет. Что ж, мы разве одни? Вон нас тут сколько много! А обидит кто — да мы его

заклюем, мы ему глаза выцарапаем, ты не думай. Рабочие — они знаешь как друг за дружку стоят. Вот у нас в заводе...

И она стала рассказывать разные случаи, все повторяла «у нас в заводе» и под конец сама глубоко убедилась, что им, девочкам, море по колено и впереди предстоит, возможно, завидная жизнь, так что, может быть, и бежать не понадобится, а Тамарка слушала, слушала — и заснула как-то сразу.

— Вот дитя мне еще, — усмехнулась Натка. — Господи, а что ж это я не сплю?

Дождик продолжался. Булькали капли в лужицы на полу. Верка в углу храпела.

— Вер!.. — позвала Натка. — Вер!.. Вот грех какой.

Пересилив себя, она встала, пошлепала по доскам, нащупала Веркин бок:

— Вер, проснись. Слышь, ведь сама просила. Беденькая ты моя.

— А? Спасибо... — Верка сладко и шумно перевернулась на другой бок, а Натка ощупью вернулась, закуталась в одеяло конвертиком и зажмурила глаза.

И поплыли перед глазами буйные потоки воды, они с орудийным грохотом расшибались о пороги, дыбились, дробились, вертели в водовороте маленькую упрямую точку, а точка плыла — и выплывала на широкий простор, на самый стрежень, не оглядываясь, и Натке было тревожно-сладко: она ведь знала, что все это уже было, и кончилось тогда хорошо — точка доплыла. Только сейчас надо было подождать немножко, чтобы все так изумительно повторилось, чтобы еще раз увидеть и пережить...

6

Танцы состоялись, но не в воскресенье, а в субботу. И девушки, едва пришли с работы, принялись готовиться к ним. Танцы — всегда большое и серьезное дело, а в таких обстоятельствах тем более.

В палатке стояла невообразимая суматоха. Утюги рвали из рук. Никто не соглашался варить суп, а Валя

отказалась наотрез; она уже час сидела перед зеркалом, подвивая раскаленным гвоздем волосы. Ее никто не осуждал, — наоборот, образовалась очередь на волшебный гвоздь.

Поставили наконец кипятиться воду, решив сварить просто яблочный кисель из порошка.

Натка разложила на кровати блузки, оба выходных платья, обе пары туфель, соображая, что лучше надеть. Тамара печально сидела на своей кровати, трогая нос. Картина была неприглядная: за две недели они все здесь обветрились, обгорели, и нос у Тамары лупился. Натка заглянула в зеркальце — батюшки! — и у нее собирается лупиться... У нее просто руки опустились. Вот не было горя!..

Она вообще-то не любила крутиться перед зеркалом. По правде, сама не понимала: красивая она или нет. Скорее нет, если мужественно взглянуть правде в глаза. Но вообще ведь — как на чей вкус. Когда-то ей очень хотелось быть красивой, она всматривалась, всматривалась в себя и вдруг поверила, что красивая. Ныне она так не думала. Личико, правда, вроде ничего, кругленькое, доброе. Вот нос картошечкой, явно неудачный нос. Глаза не столько голубые, сколько зеленые, брови совсем не вышли, хоть дорисуй карандашом, такие бесцветные. «Но ведь и не то бывает, — рассуждала она. — Сойдет и так, может быть?..»

Вот Тамара — та действительно была красавица. Полненькая такая, глазки голубые, доверчивые, бровки тоненькие, щечки нежно-румяные, так и хочется ущипнуть.

Натка взглянула на нее и тихо вздохнула не столько от зависти, сколько от огорчения, что сама не такая.

— Что же ты не одеваешься?

— Я, наверное, не пойду...

— Батюшки, с ума сошла! — всплеснула Натка руками. — Это нос-то лупится, так и свет клином сошелся. А ну, одевайся мне!

— Не пойду я, Нат, не хочется...

— И не ври, и слушать не хочу, одевайся!

— Ну, одета я...

Натка изумленно вывернула Тамаркин чемодан. Бед-

ная глупая девочка! Набрала с собой фуфаяк, шароваров, лыжный костюм, все лишь для работы: ведь она думала, что едет работать, а не в театр.

— В первый раз вижу такую наивную, — сердито сказала Натка, размышляя, какое же платье ей не жаль. — У тебя небось и из обуви одни сапоги да тапки?

— Есть еще ботинки, — пробормотала Тамара.

— Примерь-ка мои модельные, — вздохнула Натка. — Или нет, лучше бери на микропоре...

Тамара заупрячилась, чуть не с ревом отказывалась, Натка накричала на нее. Столько времени потеряно! Не столько сама одевалась, сколько одевала эту глупую, несмышленную пичугу. Она вертела Тамару перед собой, подшила подол, ушила бока на платье (дает же бог людям такую талию!), поправляла, заставляла пройтись, любовалась ею, как делом рук своих, и только потом спохватилась:

— Господи, чулки еще не стираны!

Она покатила шариком к реке, раздумывая, что чулки сохнут быстро, а если не просохнут, не беда, можно натянуть мокрые, просохнут по дороге.

У воды наклонился парень, старательно отмывая сапоги. И сапоги ей показались знакомыми. Натка, заволновавшись, осторожно зашла сбоку и заглянула. Это был Никита.

— А я... в гости к вам шел, — смущенно сказал он. Кровь ударила Натке в лицо.

— Мы вас так ждали, долго... — брякнула она.

Никита улыбнулся. И Натка улыбнулась.

— Идите к нам в палатку, — вежливо пригласила она. — Там и Тамара собирается.

— Да, я пойду в палатку, — нерешительно сказал Никита.

— Да, идите в палатку, — подтвердила Натка.

Она не помнила, как выстирала чулки. С этого момента все пошло как в тумане.

В палатку набилось битком всякого народу. Натоптали, надымили, играли на гармошке, словно свадьба какая, а не жилое помещение, не найдешь, где и кровать тут твоя. Засыпали в котел восемь пакетов сухого порошка, затем всем табором сидели в траве перед палат-

кой и хлебали кисель из чашек, блюдец, консервных банок, и все съели, ничего не осталось.

Танцы начались в сумерках на вытоптанной площадке у автобазы. Был поставлен грузовик с откинутыми бортами, и на нем восседал самодеятельный духовой оркестр, состоявший из мальчишек и выступавший в первый раз. Мальчишками руководил старый, усатый, опытный пожарник. Он играл на трубе, строго пыжился и делал оркестрантам страшные глаза. Музыканты положили перед собой на табуретках ноты и дудели кто во что горазд. Больше всех отличался барабан — взъерошенный, усердный, конопатенький. Впрочем, играли очень громко, и, если кто-либо и завирался, это произошло.

Танцевало сразу пар семьдесят. По столбам лазили монтеры с «когтями», прилаживая и зажигая прожекторы, из красного уголка автобазы вынесли длинные скамьи, которыми обставили площадку. Шуршали и топали десятки ног, и под ними вилась пыль. Из-за нее Натка сперва не танцевала, ожидая, пока окончательно высохнут чулки.

Никита робко и неуклюже пригласил Тамару, а Натка осталась сидеть на скамье. Она ревниво следила за подругой: не съехало ли платье, не растрепалась ли прическа и не смотрит ли она букой, что было бы неприлично по отношению к кавалеру.

Вдруг она услышала знакомый голос и увидела перед собой того инженера, который когда-то заговорил с ней на полигоне. Он приглашал ее. Забыв о чулках, замирая от страха, она вежливо поздоровалась, поднялась и, как чужую, положила ему на плечо свою одеревеневшую неуклюжую руку.

— Ну, рассказывайте, как вам живется? — спросил он все тем же спокойным и ласковым тоном.

— Нам хорошо живется, — ответила она.

— А все-таки?

— Нет, правда, ничего.

— Все, наверное, скучаете по дому?

— Нет, — соврала она.

— Ну что вы, я здесь третий год — и все не могу не скучать, — задумчиво сказал он. — А я, знаете, видел

на днях объявление о вечерней школе и вспомнил о вас. Там висит наверху, у входа в управление. Занятия начнутся, как положено, с первого сентября, вы подайте заявление, аттестат и справку с места работы.

— Спасибо! — охнула Натка. — Ой, какое вам спасибо, что сказали.

— Ну, не за что, — сказал он. — Я просто увидел вас здесь и спохватился. У нас, кстати, есть учебный комбинат, куда тоже можно пойти с семью классами и получить какую-нибудь ходкую специальность, например крановщика или лаборанта. Может быть, вам есть смысл подумать над этим. Или вашим подругам, вы им скажите.

Танец кончился, он усадил ее и откланялся. Сейчас же ее пригласил один немножко знакомый тракторист, потом какой-то пижон с усиками, потом опять инженер и только потом — Никита.

У нее все кружилось в голове, и на сердце было так ласково-бездумно. Проекторы казались волшебными фонарями.

Никита старательно вел ее, все молчал, так что ей приходилось вытягивать из него каждую фразу. Она выпытала, где он работает. Оказалось, каменщиком на строительстве школы.

— Это не та школа, что будет вечерняя? — удивилась Натка.

— Та.

— Ой, а разве вы успеете к первому сентября?

— Успеем.

— Да вы всегда так говорите, а потом как начнете тянуть...

— Не начнем. Половина каменщиков идет в восьмой класс.

— А вы? — с трепетом спросила Натка.

— И я.

Она закрыла глаза и предоставила своему счастью кружить ее. Это было удивительно, это было непостижимо — эта музыка, эти фонари, этот шорох ног по земле.

Натка танцевала, а глазами искала Никиту и увидела, как он сидит на скамье с Тамарой, и оба смеются

чему-то. Она подумала: «Хорошо, что Тамарка не одна, а то она такая мнительная, чуть что — сразу расхнычется».

Они втроем пошли домой напрямик через луг, то попадая на изрытую колеями дорогу, то теряя ее. Никита отважился взять за локти девушек и разговаривал, справедливо соблюдая очередь, то с одной, то с другой. Тамара споткнулась и упала. Он так испугался, он просто не знал, как извиниться, хотя виновата была сама Тамарка.

Посмеявшись, пошли дальше, но Натка почувствовала, что, когда Никита обращается к Тамаре, он говорит ласковее и придерживает ее осторожнее. Натка любила сегодня весь мир, и она рассердилась на себя за эту глупую ревность, беспочвенную, потому что на месте Никиты она так же точно беспокоилась бы за это несмышленое дитя, которое спотыкается на ровном месте. Она злилась на себя, а ей становилось все больше, больше. Впрочем, она не подала и виду.

7

И опять их «перебросили» — разгружать кирпичи с барж.

Натка и Тамара обычно стояли в цепочке рядом, передавали, передавали красные, обсыпанные пылью кирпичи, были с ног до головы выпачканы пылью, а под конец дня руки казались налитыми чугуном, и особенно болели предплечья.

Баржи все прибывали, работе не видно было конца.

У толстой Верки пропал сарафан. Обьскали всю палатку, потом Верка спрашивала подряд у всех «гостей», не подшутил ли кто. Одни возмущались, другие смеялись. А тот, длинноносый тракторист, «земляк», который теперь стал штатным завсегдатаем палатки, даже сочинил песенку и спел ее Верке:

Две гитары за стеной
Жалобно заныли.
Кто-то стибрил сарафан,
Милый мой, не ты ли?

Никита приходил почти каждый вечер. Он, устало нахохлившись, сидел с другими ребятами, но в разговорах участия не принимал. Другие дурачились, остряли, а он улыбался и молчал, словно двух слов связать не умел. Натке в такие моменты было так жаль его. Вот и большой, и смелый, и лучше их вместе взятых, а такой беспомощный. Она доставала все конфеты, какие были, и угощала его. Но он скромно отказывался, зато другие набрасывались, расхватывали, и ему ничего не оставалось.

Натка поведала ему всю свою жизнь в Москве, и какие у нее братья, и какая змея мачеха, но ей хотелось, чтобы он отважился и позвал ее побродить вдоль порогов или предложил забраться на самую высокую скалу. Она бы сейчас же встала и пошла.

Но не могла же она предложить первой, ведь так некрасиво и неприлично. Она ждала, а он не приглашал, только виновато улыбался и изредка, словно за поддержкой, поглядывал в Тамаркину сторону. Натку это очень огорчало.

Пришел день, когда все выяснилось.

Однажды после работы Прокофий Груздь велел всем явиться в управление. Как всегда, никто толком не понял зачем: велели — значит, надо. Девушки пошли — кто раньше, кто позже. Натка даже взяла карандаш, чтобы списать правила приема в вечернюю школу. Тамару она нагрузила эмалированным бидончиком: идти предстояло через лес, вдруг попадетя брусника.

Управление находилось высоко на горе. Они долго шли по склону, а брусники не встретили. Тогда они свернули с дороги на тропку, чтобы подняться напрямик.

Тропка была крутая, по сторонам ее высились толстые лиственницы, было много горелых пней, черных, искореженных сучьев, густо росли папоротники. Иногда в просвете открывалась, как на ладони, вся долина, и странно было видеть голубую реку — вблизи она никогда не была голубой, — а пороги с высоты казались черными жучками, лежащими в белоснежной вате, и шум их не доносился, было тихо-тихо.

Они шли и шли, а тропинка становилась все круче, приходилось подавать друг другу руку. Девушки запы-

хались и пожалели, что не пошли по дороге, там хоть дальше, да не так утомительно. А они после смены утомились изрядно, не ужинали; в желудке сосало, от одышки кружилась голова. Было невесело, просто тошно.

Натка подумала: вот дойдем до той коряги и отдохнем. Прошли мимо коряги. Она загадала: попадется еще один горелый пень, присядем. Но пня все не было и не было. Натка тащилась, тащилась, уже чуть не плакала, выглядывая пень, а когда наконец он попался, Натка брякнулась в траву, положила лицо на руки и глухо сказала:

— Все, Тамарка... Баста.

— Тебе дурно? — испугалась Тамара. — Дай я на тебя помахаю!

— Нет, тошно мне, — сказала Натка. — И никуда я не пойду.

Тамара помолчала и сказала:

— Все равно идти надо...

Она устало вытерла пот со лба. Счастливая, красивая, хоть нос и облез. Нос заживет, не картошка. А Натка ясно поняла, может быть первый раз в жизни, насколько она несчастлива и как ей не повезло, как навсегда-навсегда беспросветна, загублена жизнь.

— Не охота мне ходить, Том, — сказала она. — Иди одна. Вернусь я в палатку. Они гонют, а мы ходи...

— Натка! — сказала Тамара. — Натка... Я думала, ты сильная. Я училась у тебя. Что же теперь?

— Будем пропадать тут, Том... — жестоко сказала Натка.

— Наточка, милая, не надо, — Тамара погладила ее по голове. — Не стоит отчаиваться... Стыдись! Мы ведь и трех недель не прожили... Давай отдохнем и дальше полезем. Ты вспомни, это же я тряпка, маменькина дочка, а ты же рабочий человек, Натка...

Натка молчала. Ее охватила тоска, такая тоска, какой еще никогда не испытывала она за все свои семнадцать лет.

Садилось солнце. Что-то потрескивало в ветвях старой лиственницы, — может быть, хозяйничал бурундучок, запасаясь продовольствием на зиму.

Натка оперлась на Тамарину руку, встала, и они поплелись дальше, все вверх и вверх. Шли молча, пока тропинка не кончилась.

Они попали на длинную, теряющуюся в голубом тумане просеку. Грудами лежали поваленные столетние деревья, вся земля была изрыта глубокими канавами, и горы выброшенной земли были красные, как охра. В этом лесу творился суший ералаш: валялись доски, бочки изпод известки, наваленный грудами кирпич; кое-где за деревьями виднелись строящиеся дома. Смена кончилась, и работ уже не было, только в большой яме ворочался, как свинья в грязи, маленький голубой экскаватор, тархтел и пыхал дымком. На одном из деревьев была прибита аккуратная белая табличка с надписью трафаретом:

Улица Солнечная

Девушки запутались, долго разыскивали управление, а когда наконец нашли, выяснилось, что им надо собираться совсем в другом доме, где комитет комсомола, и они опять блуждали, искали.

В комитете комсомола оказалась в сборе вся бригада. Вызывали затем, чтобы вручить зарплату. Выяснилось, что здесь так заведено: первую зарплату выдают торжественно, поздравляет комсорг стройки.

Натка получила семьдесят рублей аванса, и ей пожали руку. Это было неожиданно даже для нее, рабочего человека, потому что, к примеру, в Москве она получала в аванс не больше сорока.

Комсоргом была приветливая скромная женщина лет двадцати семи, а может меньше. У нее были бесцветные брови и зеленые глаза, но она была хорошенькой, и Натка подумала: вот и у комсорга зеленые глаза, а ничего, не вредят. Дело не в глазах, а дело в человеке. Когда люди добры, умны, улыбаются — они всегда красивы. Всегда!

— Я видела, как вы приехали катером, — говорила комсорг. — Такие были все ужасно храбрые, ждали, наверно, подвигов, а у нас просто жить, работать, не бежать — и этот подвиг далеко не всем дается, к сожалению. И вам спасибо. Вы молодцы, девочки, вам еще не

повезло с этой палаткой, но послезавтра мы принимаем дом «Б-8» на Солнечной и переселим вас туда, так что готовьтесь к переезду. А взносы сейчас же все платите!

— По сколько платить? — шепотом спросила Тамара.

— Да уж не по две копейки, — ответила Натка, как опытный человек. — По две копейки, Том, кончилось...

Они уплатили, расписались, и у них в билетах расписались, потом поговорили о том, что после переселения в дом «Б-8» проведут собрание, выберут группкомсорга, что рядом с их домом на Солнечной заканчивается отделка клуба, так что можно будет ходить в кружки и в кино хоть каждый вечер.

Разговор шел неторопливый, спокойный, шуточный, и, когда они вышли, солнце уже село, на столбах вдоль просеки зажглись фонари, но голубой экскаватор все так же рылся в грязи.

Натка вспомнила о деньгах, достала их и изумленно пересчитала. Их было четырнадцать новеньких, прямо из-под машины, пятирублевков, таких голубых, ровных, чистеньких. Она подумала, что новые деньги — к новому счастью, и сразу же сообразила, что платки на зиму у нее есть, а вот ушанки нет. Отважным людям очень к лицу ушанки. И они с Тамаркой побежали в промтоварный магазин купить ушанки. Магазин уже оказался закрыт.

Они пошли в продуктовый. Первое, что бросилось Натке в глаза, были «морские камешки», и ей почудилось в этом едва ли не предопределение судьбы. Они купили их целый кулек, вышли, грызли, разглядывали странный город, в который им перебираться послезавтра и где им предстояло жить, может быть, многие долгие годы, может быть, найти здесь свое счастье или свое горе; и, не сговариваясь, они подумали, даже не подумали, а скорее почувствовали одно и то же: что как ни странно, а они сжились со своей старой палаткой и, как бы она ни была сыра, и холодна, и скверна, покидать ее будет грустно, потому что там прошла частичка жизни, небольшая, но такая значительная, а они и не заметили.

Кто-то окликнул их; вздрогнув, они разом оберну-

лись и увидели, как к ним бежит, перемахивая пни и канавы, Никита. Он не переоделся после работы, был в забрызганном пиджаке без пуговиц, рубаха на груди расстегнулась, на лбу выступили капли пота от быстрого бега. Он остановился, крайне взволнованный, с радостными глазами — и молчал.

— А мы деньги получили, — похвасталась Натка. — Семьдесят рублей. Мы даже хотели ушанки купить, только магазин закрылся.

Никита смотрел и молчал, Натка добавила:

— С нами комсорг разговаривала, нас благодарила, руки нам пожала.

— Тамара... Мне надо что-то тебе сказать, — выдал из себя Никита.

— Надолго? — упавшим голосом спросила Натка.

— Я не знаю... — пробормотал он.

— Тогда, конечно, надолго, — заключила Натка. — Я пойду, а ты, Тамара, приходи.

Тамара испуганно, растерянно посмотрела на нее, словно молила не оставлять ее. А Натка солидно пожала ей локоть:

— Только не задерживайся, а то супу не оставлю. Смотри, недолго!

Лишь у спуска на крутую тропку она спохватилась: а ведь кулек с конфетами она унесла. Она хотела вернуться, но, поразмыслив, пришла к выводу, что этого делать не надо.

Она положила в рот полную горсть «камешков», раскусила, и вдруг из глаз брызнули слезы, будто она взяла в рот что-то жутко горькое. Слезы закрыли ей дорогу, она ступала наугад по корневищам, спотыкалась, хныкала — и вдруг как бы увидела себя со стороны: большую глупую девку с кульком конфет, ревущую и спотыкающуюся, и ей стало так смешно, она просто задохнулась от смеха и рыданий.

«Ну, как хорошо, ну, какая же радость, — говорила она, вытирая льющиеся слезы, смеясь и прыгая с уступа на уступ. — Ведь он такой хороший, такой ласковый, скромный, смелый, и она такая хорошая, чистая, как я рада!..»

Она разжевывала конфеты, сквозь слезы смеялась —

Всё одновременно, — вытирала глаза ладонями, вытирала руки о полу, развезла кирпичную пыль по лицу. Подумала, что в таком виде смешно показаться на люди, и принялась вытирать лицо подкладкой.

«Что это такое, — думала она, — я все тут плачу и плачу, и зачем я плачу, спрашивается, когда мне так весело? И правду люди говорят, что женские слезы — вода. Ах, какая же ты большущая дура, Натка, ну, хватит, хватит».

Снизу шел человек. Она спешно постаралась успокоиться. Чтобы глаза отошли, стала смотреть вдаль, на Туманную долину, на синие горы и чистые, нежно-белые хлопья порогов.

«Господи, как красиво, — удивилась она. — Как хорошо, что я вижу все это, какой мир красивый, только плохо, что я плачу».

Она поравнялась с человеком у горелого пня, только тогда отважилась на него взглянуть и с удивлением увидела, что это каратуз лет семи, весь измазанный глиной, исцарапанный, в кудрых штанишках и большом выгоревшем картузе. Он устал, запыхался, — видно, бедненький, слишком торопился вверх.

— Хочешь конфет? — спросила Натка. — Держи весь кулек! Это «морские камешки» — знаешь, какие вкусные! Веселее будет карабкаться.

Мальчишка от неожиданности не промолвил ни слова, только потрясенно и долго смотрел ей вслед, не решаясь поверить своему нежданно привалившему счастью.



БИЕНИЕ ЖИЗНИ

1

Незадолго до конца работы с Алексеем Вахрушевым произошло что-то странное.

В ушах его будто лопнули какие-то пузыри, и он проснулся.

Он ощутил холод мира, ощутил невыносимый рев и дрожание машины, увидел горы щебня, мокрые столбы с качающимися фонарями, остро блестящие лужи, барачные стены, в которых различил каждый гвоздь, каждую дранку и трещину в стекле, увидел так ясно, как если бы ему заменили глаза.

Озадаченно, даже испуганно, он приглушил мотор, закурил, и снова лопнули пузыри, он услышал, как

В проводах гудит ветер, а где-то звякает оторвавшийся кусок листового железа.

В кабине же изношенного трактора, когда-то кем-то приспособленного под бульдозер, сидел человек.

Он был в свалывшихся промасленных ватных штанах, продуваемых на коленях, в такой же тужурке с табачными крошками в карманах, грязный, усталый, замученный, ошеломленно и жадно сосал «Прибой», ветер свистел по кабине (в ней не имелось дверок), сапоги были мокры, и он спросил себя: а какой во всем этом смысл?

Достав помятые карманные часы, он определил, что оставалось не более получаса. Он почувствовал неодолимую усталость и безразличие ко всему на свете. Собственно говоря, полчаса уже не играли роли; он подвел стрелку, чтобы, если понадобится, сослаться на нее.

Тут совершенно неуместно, ненужно послышался отдаленный шорох правия — кто-то шел. Алексей задумчиво послушал этот шорох. Ему было безразлично и лень, но все же он в последний момент пересилил себя, спрятал часы, сгорбясь вылез на гусеницу и начал усиленно протирать лобовое стекло.

— Ну и ветрюга задувает... А может быть, к погоде? — сказал мастер. — Ты почему баранковский не подал?

Вахрушев пожал плечами. Вопрос показался ему бессмысленным. Впрочем, имелся в виду гравий из карьера Баранковского, назначенный на завтра к укатке; об этом бульдозерист забыл.

— Ну ладно, — обстоятельно высморкавшись, сказал мастер. — Закрывай эту лавочку, сбегай чего-нибудь перекуси, повезешь сейчас доктора в Павлиху.

Мастер был в больших болотных сапогах, заношенной шляпе и брезентовом плаще, который стоял коробом и делал его приземистую фигуру почти квадратной. С некоторых пор Алексей возненавидел все квадратное.

— Что? — переспросил он.

— Позвонили из управления; велят везти доктора в Павлиху.

— Ну?

— Ну вот, свези...

— Куда? — удивился Алексей.

— В Павлиху.

Дорожный мастер был дьявол с рогами и копытами. Неизвестно, были ли у него где-нибудь друзья и любил ли кто-нибудь его.

— Ты, мастер, с ума спятил? — медленно проговорил Вахрушев.

— Я примерно так же объяснял, — кивнул мастер. — Говорил им, что люди не спят сутками, что план летит, к посевной не успеваем и прочее.

— Ну?

— Иди перехвати чего-нибудь да свезешь.

— Я дороги не знаю.

— Знаешь, осенью ездил, и нам известно за чем.

— Забыл.

— Вспомнишь, полагаю.

— Что я — автобус? — вскипел Вахрушев.

— Послушай, ты, башка: сказано, человек при смерти. А по распутью ни автобус, никакой бес не пройдет, кроме тебя!

— А я не холуй, две ночи не сплю, не поеду! — выкрикнул Вахрушев.

Мастер длинно, грязно выругался. Смысл был такой: я не желаю с тобой беседовать; вопрос стоит не в плане производственном, а в плане моральном; ежели не хочешь ехать — катись на все четыре стороны, а твое поведение разберет суд.

Выложив все это в гораздо более емкой форме, он повернулся и пошел. У Вахрушева от бешенства, от обиды затряслись губы.

— Не имеете права! Не поеду! Две смены отгрохал, вам все мало, мало, мало, вам все мало! — чуть не со слезами заорал он.

Мастер приостановился, затравленно посмотрел на Вахрушева и пошел дальше. Почему-то именно это отрезвило бульдозериста; он вдруг вспомнил, что все не имеет смысла, что ругань бесполезна и без адреса.

Возможно, этот черствый, бездушный квадратный человек и те, кто ему приказывал, были по-своему правы, даже вообще правы, если где-то умирала живая душа.

Но не эта отвлеченная живая душа тронула Вахрушева, а скорее задело слово «суд».

Мастер имел в виду товарищеский суд, Вахрушев это прекрасно понимал, но все же его покорила жуткая несправедливость.

«Значит, все, что я делаю, все не в счет, значит, вам все мало, мало, — с горечью обреченного подумал он. — Что ж, тогда я поеду, что ж, пусть...»

— Эй, ладно! — крикнул он. — А что займею?

— Отгул, — сказал издали мастер.

— Двое суток.

— Черт с тобой.

— С оплатой и прогрессивкой!

Мастер злобно плюнул и побрел дальше. Вахрушев понял, что был случай выторговать премию, но требовать следовало сразу, в лоб. Впрочем, промах его не огорчил. Он вытер руки шаклей и пошел в барак.

Его обступила тишина, блаженная тишина, в которой так отдыхалось, так глубоко дышалось, что Алексей даже непоследовательно, но оптимистично подумал: может, это к лучшему, что он свезет доктора в эту шивую Павлиху, спасут там какого-то гаврика, а потом он будет спать двое суток, деньги же с прогрессивкой пусть капаят, но все-таки лучше было бы просто плюхнуться сейчас спать.

В бараке оказалось одуряюще тепло и душно. Несколько раз споткнувшись о разбросанные сапоги, Алексей добрался до стола, пошарил впотьмах, зажег лампу.

На четырех койках храпели наработавшиеся за день дорожники. Побросали одежду как попало, уснули кто как свалился. На пятой койке, принадлежавшей Вахрушеву, сладко спал рыжий котенок.

Алексей не стал его тревожить, он обыскал все тумбочки, нашел лишь огрызки хлеба, ломоть сыру и ржавую селедку. Сколько раз он просил: люди, поимейте совесть, я ночью ради вас работаю. Но у людей нет совести.

Съев сыр и половину селедки, он выковырял из зубов и расплевал тонкие, как волос, селедочные кости, подумал, что, пожалуй, время, и нахлобучил шапку.

Была весна — холодная, полная тумана. После нескольких многообещающих теплых дней вскрылись реки; половодье затопило низины, деревни, дороги; пошли мелкие морозящие дожди — они съели последние снежные грибы в оврагах, но подснежники еще не появлялись; набухшие было почки деревьев затаились, ожидая, видимо, лучшей поры.

2

У бульдозера имелась только одна левая фара, но светила она славно, как прожектор.

Переваливаясь, рыча как потревоженный зверь, машина вылавировала из хаоса гравия, катков, бетономешалок; прожектор-фара уперся лучом в крыльцо конторы.

Здесь у перил стоял щуплый, съежившийся, какой-то жалкий мальчик в очках, с баульчиком в руке.

Присмотревшись, Вахрушев увидел, что это вовсе не мальчик, а парень лет двадцати с неопределенным гаком. Может, двадцать два, может, двадцать восемь, бывают такие люди, что их не сразу определишь. Был он бледный, помятый, наверно невыспавшийся. Вот тоже подняли человека ни за что ни про что. На пареньке было довольно модное, но худое пальтишко с поднятым воротником, вязаный серый шарф вокруг шеи, на ногах стильные ботиночки в калошах. От холода парня била дрожь.

«Сопля какая!..» — не столько с презрением, сколько с изумлением и жалостью подумал Вахрушев; в его представлении понятие «доктор» увязывалось лишь с чем-то толстым, солидным и излатозубым.

— Это ты поедешь? — недоверчиво крикнул он из кабины.

— Д-да, — простучал зубами паренек.

— Гм... так садись. Заходи справа, — посоветовал Алексей и, чтобы как-то смягчить суровость встречи, проворчал: — Экипаж знатный, до Павлихи кишок не разберешь.

Завизжала дверь, вышел дорожный мастер.

— Пальтишко бы поплоче взяли. Измажетесь...

Врач молча взял у мастера пальто, брезгливо осмотрел его, потряс зачем-то — и вдруг надел прямо поверх своего, даже не поблагодарив при этом.

— Куда тут садиться? — низким простуженным голосом спросил он.

— Можно в кабину, а хошь на крышу.

— У вас тут рычаги торчат всюду, — недовольно пробормотал пассажир, подбирая полы.

— Не я их насовал. Сами растут, как грибы.

— Поезжайте, Вахрушев, по грейдеру, никуда не сворачивайте до моста, — очень официально и вежливо сказал мастер. — А после моста налево, вы должны помнить.

— Коли не найду? — угрюмо спросил Алексей.

— Уж извольте найти, мост один. И постарайтесь вернуться с машиной скорее, без нее мы — швах.

— Ясно...

Алексей почесался, подергал тормоз. Ему казалось, нужно еще что-то выяснить, то ли он забыл что-то, но что — не мог вспомнить.

— Опустите уши у шапки! — грубо приказал он пассажиру.

— А что такое?

— А то, что ветром надует. Живо!

— А вы?

— Я? Привычный.

Парень снял шапку, опустил уши, так он стал совсем похож на подростка.

Потрявоженный железный зверь завыл, залязгал и кинулся во тьму. Выворачивая на дорогу, он еще раз пробежал лучом по крыльцу, стене, и на углу дома, на камешках, стоял квадратный мастер, улыбаясь и помахивая рукой. Он мелькнул, как кадр в кино, а под радиатор понеслись черные, жирные дорожные топи.

Впереди не было ни огонька, только темнота и сырая мгла на множество километров вокруг, и тут Вахрушев вспомнил, что он забыл: он хотел взять кое-что из запчастей, несколько свечей, а также топор и помнил об этом, еще когда грыз селедку, а ушел — забыл, все из-за этого мастера.

«Что за наваждение? — подумал он. — Почему он улыбался? Чему улыбаться-то?»

Мастер должен был до последнего дыхания отстаивать по телефону свой бульдозер. Видимо, все таки было. Для других у него невозможно выпросить снегу среди зимы. Видимо, также ему здорово пригрозили, если он в такое горячее время все же решился сорвать машину с участка. Злой, коварный человек и карьерист. А при враче говорил вежливо и улыбался лицемерно.

«Почему он такой злой? — спросил себя Вахрушев. И ответил: — Потому что он никого не любит, во-первых, кроме себя. А во-вторых, на такой работе, будь ты и золотой человек, все равно в стертый медяк превратишься. Ведь с такой братвой, как здешние дорожники, только черту с рогами и копытами справляться, другой, мягкотелый, зашился бы. Впрочем, везде в жизни мягкотелым крышка».

Несмотря на молодость, Алексей успел хлебнуть в жизни всякого и убедиться в справедливости последнего. Если самому о себе не позаботиться, то никто о тебе не позаботится. Если для кого-то ты представляешь интерес, то только с точки зрения: а что с тебя можно иметь?

Нет, Алексей не был злым парнем. Были у него и свои мечты, было страстное желание делать что-нибудь хорошее на радость людям; ему хотелось сотворить в жизни что-нибудь такое... что-нибудь такое!.. Но чего-нибудь такого не получалось, а была обычная повседневность.

Он вырос в семье, где было шесть человек детей и отец алкоголик. В дни полочки мать посылала старших ловить отца на пути к заветной поллитровке. Иногда это удавалось, иногда нет. Получал от батьки по шее, а однажды отлеживался на печи два дня, отец же плакал, прощения просил. Он был добрый, но мягкотелый. Уходя в ремесленное, Алексей расстался с домом без грусти.

И где бы он ни жил — по разным общежитиям, вагонным городкам, стройкам, — он старался прежде всего постоять за себя. Оттого чужие беды и заботы его не трогали, и хотя он этого не говорил, да и не сумел бы

как следует сформулировать, люди это сами чувствовали: подлинных друзей у Алексея не было, только были «друзья» выпить за его счет.

Он делал все что положено. Приходил на работу вовремя и старался. Пацаном вступил в комсомол, потому что все вступали.

Здесь, на строительстве дороги, он «вкалывал» шестой месяц, постоянно красуясь в числе перевыполняющих и получая премии. Если бы кто-нибудь поинтересовался его личным делом в отделе кадров, он бы заключил, что Вахрушев — хороший рабочий.

Работать действительно ему приходилось много и тяжело. Сейчас, например, спешили до сева проложить трассу в богатейший хлебный район, торопились, но платили прилично, и Алексей вызывался работать по две смены; пользуясь тем, что бульдозер был только один, он волянил как только хотел, загребал прогрессивки, не зная толком, зачем они ему.

Прогрессивки легко уплывали в те же поллитровки, а детей и жены, чтобы ради них гробиться, Алексей по молодости еще не имел и не хотел, даже не понимал, зачем это ему.

Он просто ухаживал за разными девами, иногда славно проводил с ними время, но женщины, знал он, такой народ — им все время надо щебетать о любви и «заливать мозги», а он не был врожденным мастером «заливать», очень скоро наступали разногласия и трения, и ему давали отставку. После чего он все начинал «по новой».

Впрочем, однажды он очень сильно влюбился в некую Катю — продавщицу из хлебной палатки. Была эта девушка для него лучом солнышка, и он чуть не изменил своему убеждению не жениться, очень уж была она душевной и чистой.

Но свобода была ему дорога. Он не женился. Не женился даже, когда она забеременела. Сначала он этого не знал, был очень удивлен, когда Катя бросила вдруг работу, уехала к отцу в Павлиху, вот тогда-то он и ездил к ней, в эту шивящую Павлиху, наступило объяснение, она поревела, он психанул — и прощай навсегда.

Никто-никто, ни товарищи, ни начальство, не узнал

об этом. Любовь его прошла, только внутри засел камень, и он целую неделю был сам не свой, когда на участок дошли какие-то смутные слухи о Кате: что она, дескать, уехала в город, вышла замуж за полковника, превратилась в расфуфыренную даму, живет припеваючи и прочее. Он струсил признаться себе, что ошибся, убеждал себя, что все кончилось прекрасно, что любовь человека к себе всегда сильнее любви к другим.

В эту внутреннюю «святая святых» он и сам толком не проникал, оставаясь для всех компанейским, горластым, грубоватым, но «своим в доску парнем» Алешкой Вахрушевым, услужливым, когда пахло выгодой, вредноватым, когда его не пахло, безапелляционно правым, когда ему это было нужно. Он полагал, что все правы: и мастер, — гоня подчиненных, обзывая их последними словами, грозясь судом и прочими карами. И подчиненные были правы, пользуясь всяким случаем пофилонить, потуфтить, закрыть завышенный наряд, хотя непонятно было, кому все это нужно и какой в этом смысл.

А вообще Алешке Вахрушеву не особенно уютно жилось на свете. Бессвязно размышляя, он вспомнил, что мастер отдал доктору свое собственное пальто — это было еще одно доказательство, что того действительно по телефону взгрели.

Алексей же не прихватил ничего. Конечно, он привычный, но не учел того, что вторую ночь не спал. Следовало взять хотя бы плащ. И опустить уши у ушанки. Однако можно пока потерпеть, все это, все пустяки.

Непонятно было только одно: почему мастер улыбался?

3

Машину очень трясло, и квелоگو докторишку кидало на поворотах, он цеплялся за что мог, прижимая к себе баульчик.

Вахрушев понаблюдал за ним, одним пальцем взял баульчик и забросил за сиденье.

— Лекарства? — крикнул он сквозь шум.

— Д-да, — кивнул доктор.

— А вот у меня брюхо болит иногда. Чем лечить?

— Сходите к врачу. Надо посмотреть!

— Ха, я отроду не ходил. А разве так нельзя сказать?

— Ну, шей бесалол.

— Что это?

— Пилюли такие.

Вахрушев презрительно хмыкнул и мотнул головой.

— Все вы, доктора, жулики. Пилюли! Вы сделайте так, чтобы человек жил до двести лет.

— Зачем?

— Ну-у, уж знаю зачем!

— Надоест это тебе...

— Мне? Не-ет! Я бы пятьсот жил.

Паренек криво улыбнулся и схватился, валясь, за сиденье — очередной вираж.

— Правда! — обиделся Алексей. — Чего не делаете? Кишка тонка? Ведь кишка тонка!

— Подожди! Будет и пятьсот.

— Долго ждать-то?

— Лет сто.

Вахрушев свистнул и усиленно заработал рычагами. Дорога была паршивой.

Собственно, вместо дороги тянулась полоса бурого вязкого месива, она шла под уклон, становясь все более жидкой, все более безнадежной, а впереди фара вдруг стала нащупывать что-то темное, подозрительно гладкое — это оказалась вода.

Вахрушев подвел машину к самой кромке и притормовил. Это были неглубокие тальные воды, целиком затопившие плоскую однообразную низину, границы которой трудно было предугадать. По ней кое-где торчали верхушки кустиков, и в этом направлении уходили под воду прошлогодние колеи. Возможно, где-то были глубокие лощины. Придорожные телеграфные столбы почему-то зашагали по этому морю влево. Алексей не мог помнить, сворачивает ли где-нибудь дорога влево. Он тогда ехал, занятый совсем другим, дорога вообще не осталась в памяти.

Хотя бы где-нибудь блеснул огонек! Вахрушеву припомнился рыжий разомлевший от тепла котенок на его

койке. Этот несчастный, мокрый, едва живой котенок приблудился на участок неизвестно откуда, и Вахрушев смея ради выходил его; котенок очень к нему привязался — тварь этакая цепкая и дурашливая.

— Хвастаетесь, медицина такая, медицина сякая, — сказал Вахрушев презрительно, — а рак вылечить не можете.

Доктор промолчал. Ему не хотелось говорить.

— Какая ж тогда с вас польза? Одно надувательство.

— Первобытный человек жил двадцать пять лет, — как-то монотонно, словно в сотый раз заученно твердя, сказал доктор. — Сейчас кое-где эта цифра близится к восьмидесяти. Почему мы стоим?

— Знаешь что, шарень, давай посмотри трезво. — Вахрушев сплюнул и вытерся рукавом. — Дело пахнет скипидаром. Туда сейчас ни на чем не пройдешь. Я с самого начала знал, но не хотел спорить.

— Почему же? По-моему, можно попробовать.

— Вот то-то, будем пробовать, пробовать да где-то и сядем, точно, доктор. Надо вернуться, пока не поздно.

— Надо ехать.

— Ой, не пройдем... — искренне вздохнул Вахрушев. — И запчастей я не взял.

Доктор молчал поживаясь.

Алексей не понял, согласен ли он возвращаться, или авторитетно дугая хитрость бульдозериста его не убедила. Он достал отсыревший «Прибой», чиркнул спичку и при слабом свете ее попытался разглядеть выражение лица соседа. Выражения он тоже не понял.

Просто еще раз увидел молодое, но какое-то резкое, словно истощенное, лицо нездорового цвета, с глубоко рассеченным подбородком. Поблескивает очками, нахохлился, втянул голову в плечи, совсем как горбун. Может, и впрямь он горбатый?

Затянувшись раз-другой, Алексей далеко выбросил папиросу и, вдруг решившись, осторожно тронул.

Бульдозер въехал в воду, которая, оказалось, была лишь безграничной, но мелкой, нестрашной лужей, чуть повыше катков. Дно держало твердо; гусеницы забле-

стёли, обмываясь. Вахрушев вёл самым малым ходом, ориентируясь по кустам. Водительское чутье подсказывало ему, что именно в этом месте телеграфная линия, как это иногда бывает, оставила наезженную дорогу, зашагала себе куда-то напрямик через болота, буераки — верить надо не ей, а чуть приметным кустам.

Он не ошибся. Машина шла плавно, гоня перед собой волну. В сырой мгле не стало видно земли, только вода, вода, и со стороны, наверное, это была чудная картина: шлепающий по морю бульдозер с единственной фарой и высоко задранным блестящим ножом.

— Даем! Как пароход! — весело подмигнул Алексей.

— Давайте быстрее! — сказал доктор.

«Ага, и этого мало», — отметил Вахрушев; хорошее настроение его сразу сменилось досадой.

— А что тамстряслось?

— Я говорю: нельзя ли побыстрее? Что мы ползем, как трусливая черепаха?

— А что тамстряслось? — зло закричал Алексей.

— Где?

— В Павлихе, где ж еще!

— Женщина рождает.

— Тьфу! — изумленно выругался Вахрушев. — Знал бы, не поехал!

— Почему?

— Мало их, дур, на свете, каждую спасай.

— Ну, это вы напрасно...

— Что?

— Это вы напрасно! — отчужденно сказал врач.

— А что она думала раньше? Досиделась до распутицы!

— Послушай ты, пацан! — вдруг зло сказал врач. — Это не твое и не мое дело. Едем помогать, а рассуждать будем потом.

Он отвернулся и стал смотреть в воду.

Вахрушев только раскрыл рот, но озадаченно смолчал. «А мастер, мастер-то негодяй, сказал: человек при смерти...» — подумал он с невыразимой обидой от того, что его так бессовестно надули, погнажи утомленного в ночь ради обыденного, ничтожного случая, за который премии не дадут, а эта очкастая сопля еще осадил его

высокомерно. . . Встретился бы с ним на другой дорожке, дал бы по фасаду так, чтоб только мокрое место, — а тут изволь вези его, пижона собачьего.

Впереди что-то забелело, фара оцупала невысокий подъем суши и бурую полосу дороги, вынырнувшей из-под воды. Алексей даже крякнул от удовлетворения и гордости: он провел идеально правильно, не сбившись ни на метр. Но разве тут кто-нибудь мог понять и оценить это!

Он включил на полную. Неуклюжий бульдозер, ревя, бросаясь лепешками грязи, помчался по равнине победно, как танк.

Врач откинулся на спинку, закрыл глаза. Он смахивал на покойника — так было резко и бледно его лицо. Вахрушев боялся покойников.

— Эй, да вы не больной? — толкнул он соседа в бок.

— Что такое? — недовольно поднял тот голову.

— Смотрите, вывалитесь!

— Ладно.

— Не спите, говорю!

— Да я не сплю.

— Послушайте, а ведь вы врете, что люди будут жить пятьсот лет!

— Нет, все к тому идет. Но только не скоро.

— Мы никак не доживем?

— Нет.

— Жаль.

— Что?

— Жаль говорю!

— А!..

От неожиданного толчка доктор повалился на ветровое стекло. Вахрушев резко, панически затормозил: прямо перед радиатором была река. Неизвестно, откуда она взялась, мутная, фантастическая, и дорога опять нырнула под воду, причем фара едва освещала далекий смутный берег, какие-то камни на нем. Моста не имелось — то ли его затопило, снесло, то ли здесь летом был всего какой-нибудь худой ручьишко с куриным бродом.

Вахрушев нашел длинную хворостину, попробовал

измерить глубину. Быстрая вода рвала хворостину из рук.

— Мать честная... — пробормотал Алексей. — Ну, говорил я! Все, доктор. Не знаю, как вам, а мне моя шкура дорога, разворачиваю обратно. Так и скажем: не прошли.

Врач высунул из кабины свою очкастую голову, посмотрел на мутные потоки.

— Дело ваше, — сказал он сухо, официально. — Но я лгать не буду.

— Ступай на радиатор... твою мать! — взревел Вахрушев. — Меряй глубину! Сиди и меряй мне! Если залет, останешься тут один кукарекать. Я уйду.

Очкарик поспешно, даже слишком поспешно покарабкался на радиатор. Там не за что было держаться, он встал на колени и ухватился за фару.

С длинной, кривой хворостиной, с которой капала вода, в своих двух пальто и калошах он представлял собой нелепое зрелище на носу бульдозера. Когда машина резко двинулась, он едва не соскользнул.

Дурацкая фигура закрывала бульдозеристу видимость, но ему некогда было думать о чем-либо, кроме осторожного продвижения да мокрой хворостины, которая в руке доктора опускалась опасно глубоко, но нащупывала дно, взлетала, переносилась дальше. Вода булькала, бурлила вокруг. То ли от головокружения, то ли от страха доктор часто поправлял очки. Но измерял он глубину исправно, помахивая рукой: давай еще чуть!

Благополучно миновали две или три ямы. Тыкались в разных направлениях, отыскивая, где помельче. Однажды Вахрушев оглянулся, и сердце заколотилось: они еще не достигли середины, а вода уже была «на пределе».

На гусеницы цеплялась солома, гнилая картофельная ботва, которую кучами несла вода. Алексей зажмурился: ему захотелось рвануть во всю прыть — будь что будет. И только то, что врач мог слететь, удержало его.

Наконец дно стало подниматься. Добрый мученик, железный зверь, неся на себе хвосты ботвы, поднялся,

прошёл последние метры и вышел на берег. Доктор выпрямился, снял очки и далеко отбросил хворостину. Руки у него по самые локти были мокрые.

Алексей подождал, пока доктор усядется, снял свои рукавицы, предложил:

— На, погрейся покуда.

— Не надо.

— Погрейся, а то заоченеют лапы, они тебе еще пригодятся, думаю. Тебя как звать-то?

— Александром.

— Меня Алехой. Давно врачуешь?

— Недавно. Третий год. А что?

— Гляди ты! Это где, в поликлинике?

— Да там, в поселке.

— А по специальности?

— Нас там всего двое, случается на все руки. Я вообще терапевт, но тут ничего не поймешь, все перепуталось.

— И ведь учился где небось?

— В Москве.

— Ну-у! И что это у вас, все такие дотошные?

— Что?

— Говорю: все в колхозы поехали?

— Многие.

— А кое-кто и остался? А?

Парень промолчал, тихонько потирая руки в рукавицах. А у Вахрушева настроение подпрыгнуло, он все подбавлял и подбавлял ходу.

— Слышь, Шура, а они-то небось, сволочи, и не знают, что это такое, а? Каково порохо-то нюхают, ха-ха!

Врач странно посмотрел на него, но не ответил опять, возможно, не расслышал как следует.

Машина лягала так, что звон стоял в ушах. Твердая дорога бойко бежала под гусеницы, мотор работал хорошо.

— Да, Шура, рано все-таки мы родились! — крикнул Алексей, оборачиваясь с улыбкой. — Здорово бы лет через сто!

Врач отмахнулся рукой. Вахрушев не понял его, но решил, что тот с ним согласен, хотя могло быть и наоборот.

Местность все поднималась, и вдруг запахло землей. Земля пробуждалась, прогревалась на солнечных сторонах пригорков, подсыхала, несмотря на холода и заморозки, туманы и слякоть. Запах этот нес в себе что-то щемящее, смутно будоражащее, напоминающее о чем-то таком, чего, может, никогда и не было, но о чем мучительно хотелось вспомнить.

По крайней мере так казалось Вахрушеву; он сдвинул шапку на затылок и раздул ноздри, настороженно принюхиваясь, как молодой, крепкий пес. Доктор, видимо, тоже забеспокоился; он протер перед собой стекло, и все смотрел, смотрел вперед, потом высунулся из кабины, долго вглядывался в темноту, но не различил ничего.

Неизвестно, понял ли он, что это просто пахнет земля.

4

— Стоп, — сказал наконец Вахрушев. — Позволь мне хоть пожрать. Не могу больше, все кишки слиплись.

Конечно, он хитрил. Он устал от всего, абсолютно от всего, у него болели пальцы, окоченевшие от долгого сжимания рычагов.

Врач поднял рукав, взглянул на часы. Оказалось, что ехали уже около трех часов. Он недовольно поежился, но ничего не возразил, только потянулся за своим баульчиком.

Бульдозер стоял на развилке трех дорог, как витязь на распутье. По-прежнему пахло землей и не было видно ни огонька.

— Мать их в Христофора Колумба, не могли указатель поставить, — пожаловался Вахрушев, доставая из кармана кусок хлеба и половину селедки. — И вот так всюду: где не надо, там этих знаков, столбов понатыкано, сплошная мораль — того нельзя, другого нельзя, двадцатого нельзя. Ненавижу!

Не сговариваясь, они выбрались из кабины и направились к заманчивому бугорку, который ярко освещала

фара. Было приятно поразмяться и потянуться после вымотавшей душу болтанки.

На бугорке оказался низкий, вкопанный в землю четырехгранный каменный столб — какой-то понятный только посвященным триангуляционный знак. Под ним зеленела молодая трава.

В докторском баульчике, к несказанному удивлению Вахрушева, оказался объемистый целлофановый пакет, из которого по очереди появились блинчики, котлеты, батон, пирог и яблоко.

— Ого! — хмыкнул Вахрушев. — Да ты запаса правильно.

— Это жена мне всегда кладет... — немного смутившись, словно оправдываясь, сказал доктор.

— Господи, и какой ты доктор! — воскликнул Алексей. — Ты меня пацаном обозвал, а ведь ты сам еще больший пацан.

— Ну, может, это тебе так кажется, — солидно сказал парень.

— А блины мощные! Это жена сама пекла?

— Сама.

— Слушай, скажи, хорошо быть женатым?

— А ты что, холост?

— Ага.

— Ну, женись, узнаешь! — засмеялся врач.

— Нет, скажи вправду — стоит жениться? Вот я никак не могу этого решить.

— Подрастешь, решишь, — пошутил парень. — И что это ты мне все задаешь глупые вопросы?

— Может, для тебя и глупые, а для меня это — во как. Я серьезно спрашиваю. Все женятся, женятся, а спрашивается — зачем?

— А я тебе отвечаю: женись — сам узнаешь.

— Не на ком...

— Чепуха какая.

— Да нет же! — горячо воскликнул Алексей. — Я тебе правду говорю: не на ком!

— Может, ты слепой? — добродушно сказал врач.

— Правду говорю! — подтвердил Алексей. — Черт его знает, ударяешь, ударяешь за девкой, потом видишь — не то... Другую нашел, ну, думаешь, все, от-

хвачу, — заливаешь, заливаешь, а она хлоп! — за другого выскочила, опять не то. Потом опять же, если рассудить, — какого лешего обузу на свою шею?..

— Тьфу! — плюнул врач.

— А чего?

Врач потер щеку, с любопытством разглядывая бульдозериста: длинный, чем-то похож на журавля, лицо худое, обтянутое смуглой кожей, энергичное, глаза зоркие, руки умные, хваткие.

— Почему-то считается, — задумчиво сказал доктор, — что искать друга — значит заливать, выходить замуж — удачно выскакивать, жениться — отхватывать. Идиотизм какой-то!

Он взял яблоко, повертел его, принялся разламывать.

«Нет, он намного старше меня, — подумал Алексей. — Это он только так выглядит молодо. Хотел бы я спросить, какого он года».

Яблоко не поддавалось. Вахрушев отобрал его у доктора, положил на каменный столб, примерился и сильно рубанул ребром кисти; яблоко разлетелось на две половинки, словно разрезанное ножом.

— В любви нужно быть искренним, — сказал врач, как ни в чем не бывало подбирая свою половину, — искренним, как перед самим собой... Почему-то этой простой вещи многие, как ты, не понимают и страдают всю жизнь, принося страдания другим...

Много еды осталось, и Вахрушев хозяйственно завернул ее в бумагу, подумал, засунул в целлофановый пакет.

— Вот уж не знаю, по какой дороге ехать, — пробормотал он. — Не помню ничего. Ничего не помню.

Он медленно поднялся, пошел вдоль луча света; долго виднелась его долговязая фигура.

— Поеду по средней дороге, — задумчиво сказал он, возвращаясь.

— Он говорил: после моста налево.

— Да был ли мост?

После еды Вахрушев обмяк и выглядел так, словно его пришибло; он пошел бульдозер какими-то судорожными рывками, зачем-то часто переключая рычаги.

В нем назревал бунт, назревало что-то непонятное ему самому, было неудобно, не жарко, не холодно, а как-то противно. Хотелось завывать, бросить машину и побрести куда-нибудь в поле, куда глаза глядят, брести долго и упасть в изнеможении.

Когда средняя дорога раздвоилась, Вахрушев даже не обратил на это внимания, он не раздумывая повел по более укатанной, как ему казалось, полосе, но от нее вскоре стали отходить одиночные колеи, а она становилась незаметнее, глуше. Тогда он понял, что сбился, но долго еще по инерции и из какого-то безнадежного упрямства гнал вперед.

— Э! Куда мы едем? — крикнул врач.

Вахрушев наклонился к его уху и закричал:

— Слушай, Шура, я ничего не помню! Понимаешь, ничего не помню!.. Может быть, давай поспим, Шура?

Врач упрямо замотал головой.

— До рассвета часа полтора, Шура! А там живо махнем!

— Леша, пожалуйста, надо ехать! Мы сбились?

Вместо ответа Вахрушев круто развернул машину влево и неожиданно направил ее в чисто поле, прямо поперек старых борозд. Он не сбавил скорость, но еще более увеличил ее.

— Куда?

— Срежем на ту дорогу... надо выехать!

Поле было неровное. Кидало, толкало, месило; переваливали какие-то канавы, полные воды, давили гусеницами неубранную сгнившую солому. Прямо посреди поля Вахрушев решительно затормозил и приглушил мотор.

— Что?

— Хана. Тут спать будем. Ни хрена не вижу.

— Пожалуйста, поедем! — визгливо крикнул доктор.

— Ну, отдышаться дай! — взмолился Алексей. —

Всю ночь, гляди, прем, у меня в глазах потемнело. Подождут как-нибудь.

— Едем! Если бы могли ждать, не звонили бы.

— Помешанный! — охнул Алексей. — Ты чокнутый! Фанатик! Давным-давно уж твоя вонючая баба родила. Куда переть-то? На крестинах успеешь налакаться!

— Вот приедем, убедимся — поспим.

— Да что тебе эта баба! — вспылал Алексей. — Одной больше, одной меньше. Умрет, — значит, так надо, все равно когда-то сдохнет, все сдохнем. И так расплодилось на свете, как мурашей, плюнуть некуда, жрать скоро нечего будет.

— Так говорят мальтузианцы.

— Чего-о?

— Так говорят последние юволочи! Фашисты! — заикаясь, сказал врач. — Если вы не любите... если вы не умеете ценить свою жизнь, — это ваше личное дело, но научитесь уважать чужую жизнь. Поезжайте, я требую!

— Плевал я... — мрачно сказал Вахрушев. — Пусть сперва меня кто-нибудь уважит. Кто меня уважает? Я тебя спрашиваю: кто меня уважает?

— Слушайте, — взъерепенился врач, — если вы не поведете машину, садитесь на мое место и спите. Я поведу.

— Вы?

— Я уже понял принцип управления.

— Пош-шел ты, — раздув ноздри, сказал Вахрушев. — Пошел ты! Ведь я же не дам! Понял? Не дам!

Врач потянул баульчик и полез вон из кабины. Вахрушев поймал его за полу, врач брыкался, он его втащил обратно.

— Ну, куда?

— Пойду один.

— Сядь, — Вахрушев втиснул его на сиденье, как котенка.

Он поплевал на руки, толкнул рычаги, и бульдозер опять пополз куда-то в туман, наугад.

5

«И почему он улыбался?..» — мучительно думал Вахрушев, как будто от решения этого вопроса зависело многое; стоило понять — и пришли бы ясность, мир, успокоение.

Хотел ли мастер показаться перед посторонним человеком лучше, чем он есть на самом деле? Прошибла ли и запугала его ругань по телефону? Или он торжествовал, смеялся над Вахрушевым?

Чем больше Алексей думал, тем непонятнее ему становилось, как это получилось, что его обозвали фашистом. Врач, конечно, разозлился; судя по его виду, он тоже, наверное, долго не спал и устал. Но, с другой стороны, врач был и прав, возражая.

На свете мало людей. Это когда попадаешь в город или стоишь в очереди, кажется, что людей — как муравьев. А ведь на самом деле земля велика и пуста, как вот эти просторы вокруг. Протянулись пустыни и горы, океаны и леса, болота и степи. Кое-где среди них — словно кто пригоршней бросал — там деревенька, там город да тоненькие ниточки дорог, а уйди с дороги в сторону — садись и вой от одиночества. Поселила людей жизнь на этом затерянном в мировых просторах шарике — так уж держаться бы друг друга, радоваться друг другу, шевелить за жизнь вместе, а не грызться. Грызться пристало зверям. А людям надо уважать себя. Если бы мастер это понимал, он бы улыбался всегда, а не только сегодня...

Мысли Вахрушева бились, нагоняли одна другую. Он почти не смотрел, да и не узнал бы, куда он едет. Он просто гнал вперед.

Ему вспомнилась Катя-продащица, стало жалко ее, и он ужаснулся своей подлости, он даже подумал: а может быть, это выдумки, что она где-то живет припеваючи за полковником, может, это неправильный слух, а она все так же одна, ей трудно; может быть, она даже любит и ждет его... И куда девался ребенок? Был ли ребенок?

Полю все не было конца. Вернее, пашени кончились, а потянулась какая-то неведомая земля с редкими кустарниками, мелкими болотцами. То пахло снегом, то пахло снова весенней землей, то ветер доносил странный навозный дух.

Впереди, в длинном луче, запрыгали два зайца. Они прыгали не торопясь, а когда удалялись — садились и поджидали машину, но из луча не уходили, околдованные светом.

Вахрушев только не понимал — два ли зайца на самом деле, или у него двоилось в глазах. Когда однажды машина нырнула в балочку и трудно выкарабкалась из нее, зайцы исчезли. Да были ли они вообще?

Бульдозер стал проваливаться. Попалось вредное болото, свежее, лишь недавно затянувшееся. Впереди замаячило уродливое сухое дерево. Алексей держал на него, сознавая, что дерево должно обязательно стоять на твердом бугре. Он дал полный газ, машина тянула изо всех сил, но с каждым метром проваливалась все глубже.

Не доехав до дерева всего какой-нибудь дюжины метров, бульдозер сел. Мотор не проворачивал. Вахрушев выключил сцепление, обстоятельно, не торопясь, раскurlил «Прибой», выбрав самую сохранившуюся папиросу.

«Нет, не ждет она, не любит и не думает обо мне», — подумал он.

Да кто же после такого любит! Наоборот.

Ему стало удивительно, как он раньше не понимал таких простых вещей. Если бы он понимал, он бы, наверное, трусил бросить девушку так нагло и просто. Он трусил, как бы кто не узнал эту историю. Какие пустяки! Сам-то он знал — вот что главное, и забыть об этом не удастся никогда.

Алексей попробовал раскачать машину вперед-назад, потом выглянул, чтобы разобраться, что случилось. Картина была невеселая. Бульдозер засел в трясины по самый двигатель, оттого казался неестественно низким. От попыток раскачаться он только прочнее увяз, развернулся наискось к бугру и накренился. Правая гусеница была абсолютно безнадежна.

— Выйти можно? — спросил доктор.

Алексей вспомнил о его существовании, и ему вдруг стало смешно.

— Можешь радировать «SOS»! — шутливо сказал он. — Полагаю, раньше лета не выберемся.

— Ну, я все-таки пойду, — деловито закопошился врач.

— Не надо, — попросил Вахрушев. — Давай держаться кучи, по одному хуже. Ты протри очки да погляди.

Доктор выглянул. Он поспешно вылез на гусеницу и еще раз осмотрелся.

Начинался рассвет. Ключьями плыл туман. Сколько видел глаз вокруг — были низины, залитые водой. Сплошная вода и вода, а они сидели на одном из вязких островов.

— Так. Приехали, — сказал Вахрушев, почесывая небритую щеку. — Добро, хоть дерево под боком. Будет на чем повеситься.

6

— Скажи, Шура, жена у тебя хорошая баба? — спросил Алексей.

— А какое тебе дело?

— Да нет, я так просто... — с огорчением пробормотал Алексей; ему хотелось, чтобы доктор отозвался о своей жене очень тепло, хорошо, и тогда он ему много простил бы, и не только ему одному.

— Может быть, все же возможно вызвать трактор? — нервничая, спросил врач.

Вахрушев пожал плечами. «Да, люди перестанут грызть друг друга, — изумленно подумал он. — Они будут жить хорошо, будут жить долго, но не будет уже ни этого врача, ни меня, на этом болоте будет колоситься пшеница...»

— Сколько километров до Павлихи? — раздраженно спросил врач, перебивая его мысли.

— Откуда я знаю?

— Ну все-таки, десять, пятнадцать?

— Не дойдем, — сказал Вахрушев задумчиво. — Не дойдем... Жаль, что не дойдем.

— Хотя бы догадались болотные сапоги взять!

— А дети у вас есть? — спросил Алексей.

— Нет еще.

— Будут?

— Неуместный вопрос.

— Почему же неуместный? Я вот все кочу понять, чего вы из-за этой бабы так убиваетесь?

— Всякий человек должен убиваться.

— Вот то-то, что должен. Но зачем?

— Зачем, зачем!.. Хотя бы ради жизни.

— А жизнь зачем?

— Не знаю.

— Первый раз встречаю такого человека, как вы, — сказал Вахрушев. — А то все знают, да знают. И врут.

— Да вы прекратите эти разговоры или нет? — вспыхнул врач.

Вахрушев обиженно засопел, взялся за рычаги; машина взвыла, измученно забилась, задрожала, но только еще более наклонилась на правый бок.

Закончив эту демонстрацию, Вахрушев сбросил с себя тужурку, полез в ящик за инструментами. Он стал вынимать все, что могло хоть мало-мальски пригодиться: ключи, молоток, лопатку, какие-то железные пруты.

Врач не знал, что у бульдозера позади кабины имеется лебедка. На нее наматывается трос, которым поднимается нож. Осененный дерзкой идеей, Вахрушев решил отцепить трос от ножа, высвободить его из блоков, захлестнуть за дерево — и тогда при помощи лебедки машина вытащила бы сама себя.

— Так что вылезай-ка, ручки придется замарать, — грубо приказал он врачу.

И на этот раз паренек поспешно, даже слишком поспешно вышел из кабины.

Потом началась война с тросом. Два человека долго и отчаянно бились над ним, пока наконец удалось отцепить и освободить его. Трос был в мазуте, поэтому оба перепачкались, как трубочисты.

До дерева едва-едва хватило, но не было проволоки, чтобы закрепить. Пошли в ход французские ключи, железные прутья, из которых Вахрушев соорудил хитрое крепление.

Путешествуя по трясине на бугор и обратно, врач утопил правую калошу. Сколько ее ни искали, так и не нашли.

Вахрушев прогнал пассажира подальше от машины, а сам, весь мокрый и красный, полез в кабину включать лебедку.

Он включил, трос натянулся, дерево скрипнуло, и с него посыпалась труха.

— Господи! — весело взмолился Вахрушев. — Если ты, старый хрен, есть на свете, яви чудо, сделай, чтобы эта гнилуха выдержала!

Трос зазвенел, один из железных прутков дзенькнул, со свистом описал дугу и упал прямо в кусты. Дерево затрещало и рухнуло.

— Ну, значит, нет бога, — сказал Вахрушев.

Он совсем развеселился; он и не подумал сдаваться. Энергично кроя себя за то, что не взял топора, он маленькой тупой лопаткой обрубил ветки, отрубил верхушку дерева. Получилось корявое бревно. Врач устало сел на него, гляди, как Алексей работает. Вахрушев принялся рыть траншею по длине бревна.

— Здорово! — восхищенно сказал врач. — А вы физкультурой не занимались?

— У меня работенка — что твоя физкультура, — ответил Алексей. — Балет — а не работенка! Вот с нею, матушкой-землицей, все в основном и беседуем, у нас с ней давнишние счеты.

— Если бы вы ходили в секцию, из вас получился бы хороший гимнаст.

— Где там те секции!.. Вот на стройке я работал, там были секции, да я сам как-то не ходил.. некогда.

— Давайте я вас сменю.

Вахрушев отдал врачу лопатку, а сам направился в кусты за хворостом. Удивительное было вокоуг безмолвие — ни шорохов, ни птичьих голосов. Поэтому Вахрушев разговаривал сам с собой.

— Что вы говорите? — крикнул врач.

— Скорее сюда идите! — позвал Вахрушев. — Ведь что я нашел!

Недоумевая, врач пошел к нему с лопаткой в руке.

Среди кустов, на три четверти вросший в землю, темнел ржавый корпус танка, без башни, без гусениц. Бульдозерист и доктор обошли его молча, постучали по броне.

— Как это он затерялся, — удивился Вахрушев, — что и на лом не уперли. Это немецкий, вот, передок у них такой.

— Вероятно, утонул и не смогли вытащить?

— Этот утонет! У танков, брат, движки не то, что у нашего старика. Скорей всего подбили, и башню снесло.

— Хорошие моторы у танков?

— Ну! Золото, а не двигатели...

Доктор снял очки, провел желтой худой рукой по броне. Было непонятно, болен ли он, или безбожно устал.

— Какой экипаж у такого танка?

— Трое. Командир, водитель и стрелок-радист. Впрочем, разное бывает, я точно не знаю... Теперь все эти танки ни к черту, их уже бесполезно выпускать.

Врач повернулся, устало побрел обратно, все так же неся в руке лопатку.

Вахрушев вздохнул, поднял хворост. Он принес его и бросил под бульдозер. Собрал сухие ветки от дерева и тоже бросил.

— Вообще вы меня извините за это самое... мальтузианство, — сказал он. — Я вообще болван, сам знаю. И горячий я. Вот врачом мне быть никак нельзя. И как вы только выдерживаете: больные, умирающие, калеки... Муть! Нравится вам, что ли? Я бы сбежал. Сказал: пропади вы пропадом.

— Врачу, Леша, нельзя быть циником.

— Да, вам надо быть жалостливым.

— Нет, и жалостливым нельзя.

— Скажите, а разнесчастную какую-нибудь дохлятину лечите и ведь видите, что умрет все равно, а цепляется, жить хочет — так ведь жалко небось, а? А вы ему — пилюли, пилюли, потому что больше ничего не можете. А?

— Что же делать? Надо хоть так.

— Надо-то надо, а жалко?

— Это уж чисто личное дело. Обычно привыкают.

— К чему только не привыкает человек!.. Вот я начал работать на бульдозере, первое время думал — сдохну. Адовая машина. А теперь ничего, привык. Две смены вкалываю даже.

— Зачем?

— А черт его знает. Выпить люблю.

Тем временем «мертвяк» был вкопан. Вахрушев

попробовал включить лебедку. Зарытое в землю бревно держало, но трясина не выпускала машину. Силы лебедки не хватало.

Пришлось снимать трос, пропускать его под раму, образуя более действенный угол. Рубили новый хворост, промокли чуть не по пояс, руки, исцарапанные заусеницами троса, кровоточили.

После долгой борьбы машина стала сантиметр за сантиметром продвигаться к бугру. Под гусеницы удалось подвести несколько крупных коряг. Бульдозер уцепился за них, напруг последние силы, криво-косо выкарабкался на бугор — весь в грязи и торфе, причем «мертвяк» дыбом встал из земли, притянутый тросом, прилип к машине, чуть не раздробив кабину. Это была промашка Вахрушева, он не спохватился вовремя выключить лебедку.

Заправили трос на место.

— Умыться бы, — деловито предложил Вахрушев, — а то мы теперь стали как снежные людики!

— А ведь вылезли, Лешка, вылезли! — жалобно, словно еще не веря такому счастью, сказал врач; он был разнесчастный, перемазанный в крови.

— Ну и впредь вылезем! — бодро воскликнул Вахрушев. — Эх, Шурка, забавный ты сухарик, брат! — он, обняв, похлопал его. — Нашел ты себе направление — и прешь, как ракета. Эх, мне бы с тобой на соседней койке жить, мы б побеседовали...

Врач, кажется, смутился.

— Ну, вот что, давай теперь скорее ехать.

— Погоди, умоемся.

— Там, там, поехали, Алеша, я еще в жизни так не запаздывал...

— Теперь я знаю, где мы, — сказал Алексей, оглядываясь. — Ну и дали же мы влево. Теперь до Павлихи я с закрытыми глазами... Да, Шура, жила у меня там когда-то одна девка, хорошая, умница такая.

— А где же она теперь? — спросил доктор, усаживаясь.

— Не знаю! Уехала куда-то, говорят...

— Что? Очень хорошая была?

— Да.

Машина тронулась. Они снова, как на пароходе, стали резать гладь воды.

Было уже совсем светло, и туман разошелся. На горизонте поднялась гряда крутых холмов с желтеющими обрывами, оврагами, цепочками насаженных деревьев. Павлиха затерялась где-то там среди них, но Вахрушев уже угадывал ее, его сердце тревожно забилось, он даже подался вперед от нетерпения. Врачу не приходилось его погонять. Но врач и не думал об этом. Он вдруг, как ночью, нахохлился, втянул голову в плечи, дрожа от озноба. Вахрушеву захотелось как-то подбодрить его, похвалить. Он толкнул врача в бок:

— А ты герой у меня, Шурка! Вот бы поглядел на тебя твой начальник али комсомольский секретарь!

Врач слабо улыбнулся.

— Ты ведь комсомолец, конечно?

— Нет! — прокричал доктор.

— Как нет? — поразился Вахрушев.

— Я коммунист. Седьмой месяц, как в партии. А что?

«Фу-ты! Да не старше он меня, да он моложе меня, клянусь! — потрясенно подумал Алексей. — Ведь моложе по годам, моложе!..»

— Слышь, какого ты года? — решившись, спросил Вахрушев.

Но врач не расслышал: он спал.

7

Первыми заметили бульдозер павлихинские мальчишки. Они побежали навстречу, и Вахрушев высунулся из кабины, грозя кулаком и делая страшные глаза, чтобы не цеплялись. Мальчишки с криком и визгом привели машину к какой-то избе. В избе захлопали двери, выбежала древняя старуха, всплеснула руками, увидев машину, и завывала так жутко, что у Вахрушева похолодела спина.

— Здесь? — спросил врач, просыпаясь. — Здесь? Ну что, что?

— Ох, не роз-ро-о-дится вторы сутки, родимые! Ой,

кончится!.. — выла старуха так старательно, словно не плакала, а пела всем нутром.

За ней выскочила рыжая медсестра в халате, озабоченно вырвала у доктора баульчик и накинулась на него:

— Что это вы так долго? Мы всю ночь прождали!

— Живой? — спросил врач на ходу.

— Сюда идите. Ради бога! Мы всю ночь прождали!

— Живой ребенок, спрашиваю? — рассердился доктор.

— Бьется еще... слабо.

Вахрушев давно отметил, что пареньку сильно не шло, когда он сердился: он тогда становился похожим на взъерошенного воробья. Еще больше была ненатуральной и развлекала Вахрушева голосащая старуха.

— Ну, хватит, бабуся, — сказал он солидно. — Теперь уж все, порядок, не волнуйся. Доктора я вам привез правильного. Вот ты бы нас лучше покормила.

Но завтракать ему пришлось одному. Он быстро договорился с незнакомыми людьми, особенно же ему понравилась бабуся, которая налила ему стакан водки.

Он съел миску щей, миску каши с молоком, миску киселя, а потом забыл, что он в гостях, улегся себе на лавку и сладко уснул.

Ему приснился квадратный мастер, с которым он танцевал танго, и вел его осторожно, как хрупкую девушку. Растрепанная рыжая сестра в халате, залитом кровью, кричала дурным голосом, кричала так, что Алексей чуть не просыпался, но старуха приносила стакан за стаканом, Алексей думал: ну вот, выпью все, что она принесет, и тогда проснусь.

Он просто влюбился в эту бабуся, он готов был ее расцеловать. А она торопилась, у нее оставалось еще много водки, она должна была завтра умереть, потому что наконец рождался ребенок на смену ей, — и она спешила скорее раздать все, что у нее оставалось, всю эту водку. И вот уже ее пили мастер, доктор, Катя-продащица, рыжая сестра, десятки разных людей пили, пировали, потому что старуха была фантастически богата, неисчерпаемо богата, она просто стала героем дня, все ее славили, и никому даже в голову не пришло спро-

сидеть у бульдозериста с доктором: а как же это вы, бедняги, к нам добрались, небось трудно было?

«Да трудно ли было? — ошеломленно подумал Вахрушев. — Побарахтались в болоте, вот и всех делов. А если подумать, к примеру, детей рожать и растить — вот это трудно!»

Короче говоря, он проснулся, так и не допив водки, недовольный собой, с мутной головной болью и тяжестью во всем теле.

Было далеко за полдень, судя по тому, что в окно светило уже довольно низкое солнце.

Вахрушев лежал на чистой, высокой, со взбитыми перинами кровати. Он вскочил, ужасаясь своей грязи. За дверью бубнили голоса. Удивившись, Алексей осторожно заглянул в щель. На никелированной кровати, покрытая одеялами, лежала восковая, измученная женщина — только скулы да нос. Лет ей было, наверное, под сорок. У окна стоял, заслоняя свет, доктор и очень серьезно — мальчишка этакий! — убеждал ее в чем-то, а она упрямо качала головой. По комнате расхаживала сердитая, распрямленная сестра с жвакающим свертком в руках.

«Ага! — подумал Вахрушев. — Ну ладно...»

Он был рад, что все кончилось, и кончилось хорошо. Хоть не даром перли. Вот, значит, пришел в свет какой-то новый человечек.

Старуха заглянула, увидела, что гость проснулся, и засуетилась, накрывая на стол. Вахрушев попросил умыться и подмигнул ей.

— Мужик аль девка? — спросил он.

— Девка, родимый, девка, слава богу, жива...

— Ну, это хорошо, — глубокомысленно заметил он. — Будет вот у вас красавица... Скажи, бабуся, а не помнишь ли ты такую Катю Демченко, проживала она у вас на селе, вот там, где теперь новая изба строится.

— Не помню, — сказала старуха. — Все строятся.

— Еще отец ей был кладовщик.

— А, помню! — воскликнула старуха радостно. — Помер! Помню, как же. Помер на рождество!

— А дочка?

— Уехала, уехала туда, на целину.

— Разве она замуж не вышла за полковника?

— Не знаю, милый, не знаю. Уехала.

Она подала стакан водки.

— Да, бабуся, — задумчиво сказал Вахрушев, — жаль, что ты не дожидишь до того времени!..

— Какого, сынок?

— Да когда люди лет по пятьсот будут жить.

Старуха удивилась, испуганно посмотрела на него и жалостливо покачала головой.

Теперь обедали вдвоем. Доктор Шура окончательно осунулся и пожелтел, как печеное яблоко. Что-то или кто-то его рассердил или обидел, он раздраженно покрикивал на бабуку, сопя, ел все без разбору.

— Ты что, так и не спал? — спросил Вахрушев.

— Сейчас завалюсь.

— Много было делов?

— Нет, не особенно.

— Опасно?

— Не очень. Обычная вещь. Просто эта дура сестра растерялась и напутала.

— Но в общем мы успели?

— Ага.

— Вовремя, значит?

— Ты вот что... ты, пожалуй, уезжай, — сказал доктор. — Мне тут придется на пару дней остаться.

— А что?

— Ничего. Просто лучше на пару дней остаться. Потом я сам как-нибудь выберусь.

— Я бы остался, — сказал Вахрушев, — но мастер за машину заест.

— Пальто ему передай. Благодарю.

— Слушай, давай-ка я твоей жене сообщу, что ты остался!

— Нет, я уж звонил сам, здесь есть телефон.

— Ладно, — сказал Вахрушев, вдруг заторопившись. — Тогда я поеду. Бывай здоров.

— Бывай здоров, — врач протянул свою худую руку.

Алексей пожал ее, вспомнил:

— Да! От брюха-то — чего пить, ты говорил?

— Бесалол.

— Ну ладно, поеду. Дотемна надо успеть. Я бы

остался, но мастер за машину заест, она правда там нужна. . .

Он оделся, забрал старое пальто, завел мотор — у него билось сердце, подкатывалось к горлу что-то — и поехал, разбрасывая гусеницами лепешки грязи.

Весна упорно, шаг за шагом, брала свое: солнце лило миру щедрое тепло; земля задымилась, легкой сухой коркой покрывалась грязь; небо было чистое; с юга на север по нему летели беспорядочные усталые гусиные стаи и кричали мучительно, тревожно, зовуще, будоража домашних гусей; кое-где на огородах поднялись белые столбы дыма — жгли прошлогодние листья.



ЖЕНЩИНА

1

Однажды ночью соседи слышали через стену, как учительница Карелина глухо, жутко плакала.

В последнее время из-за стены редко доносились звуки: учительница жила тихо, телевизора не имела.

Первой проснулась бабушка Феня. Она испугалась: не воры ли забрались и душат женщину? Она разбудила сына, невестку. Но плач прекратился; раз или два донеслось слабое дребезжанье передвигаемых стульев, и все затихло.

Когда наутро бабушка Феня озабоченно спросила, что это было ночью, учительница, немного смешавшись, ответила: снился тяжелый сон.

Учительница Татьяна Сергеевна Карелина занимала

просторную комнату с примыкавшей к ней маленькой кухонькой. Это составляло третью часть одноэтажного жактовского дома.

С домом была связана любопытная легенда. Говорили, что под ним зарыто золото в глиняных горшках. Это поверье упорно держалось среди старожилов вот уж более сорока лет, хотя до сих пор никто не нашел никакого золота.

Впрочем, происхождение легенды имело свою реальную основу.

Когда-то дом принадлежал богатому человеку, управляющему кожевенным заводом, возникшим в начале столетия на глухой и болотистой городской окраине — Землянке.

Давно не осталось следа от землянок, в которых прозябали тысячи разных обездоленных, бродяг, жуликов. Землянка была своеобразной язвой, обвинением, грозой города. Вечерами даже полиция предпочитала не углубляться туда.

И вот один предприимчивый фабрикант заложил на речке Грязне кожевенный завод, отчего речка стала совсем зловонной, в ней передохла рыба, а вся Землянка принялась исправно просыпаться по гудку и тащиться в цехи.

Хозяин редко появлялся на заводе, а всем управлял некий Ермолан — энергичный, усатый, бравый поляк, выходец из тех же босяков Землянки. Для него хозяин велел выстроить в центре Землянки первый настоящий дом.

По тем временам дом был шикарен: железная крыша с флюгером, каменный фундамент, филигранно вырезанные ставни и наличники. А так как дом был заложен на самом сухом холме и как бы высокомерно парил над норами Землянки, люди окрестили Ермолана с его домом «паном Еропланом».

О взлете «пана Ероплана», его головокружительной карьере сохранилось немало анекдотов, лишь одно было никому не известно: куда он делся после революции.

В конце 1917 года «пан Ероплан» неожиданно исчез, а в ероплановском доме обосновался хозяин-фабрикант

с сыном и женой, родовитой дамой из бывших фрейлин, которая под старость стала сектанткой-штундисткой.

Заводы, особняки в центре города и прочее имущество у них были отобраны, оставлен только дом на Землянке, и фабриканту, таким образом, ничего не оставалось, как возделывать ероплановский огород.

У него были все основания считать, что он легко отделался. Между тем в дом с флюгером приходили по ночам какие-то люди, и пьяный кочегар как-то перед рассветом наблюдал из канавы подъехавшую пролетку, с которой несколько человек стружали и носили в калитку длинные черные ящики. Спьяну ему показалось, что это гробы, он едва не умер со страху. Потом ящики эти послужили предметом долгих пересудов. Не исключено, что кочегару они вообще приснились, пока он лежал в канаве, — но легенда о золоте родилась.

Фабрикант и его взрослый сын вдруг исчезли. По слухам, они объявились бельгми офицерами в денкинских, а затем во врангелевских войсках, и к концу гражданской войны оба не то погибли, не то были расстреляны.

Штундистку вызывали на допросы, в доме делались обыски. Старуха притворялась невменяемой, и, наверное, какая-то истина в этом была, потому что потом она действительно свихнулась.

В двадцатые годы она жила в целом доме одна, ходила в страшных, вонючих отрепьях по знакомым, собирая милостыню.

А однажды, когда соседи не видели ее несколько дней и, обеспокоившись, выломали дверь, они нашли штундистку мертвой с выражением ужаса на застывшем лице. Многим показалось странным то, что большое окно, выходявшее в огород, было не заперто, а всего лишь прикрыто.

Хоронить, конечно, было не на что да и некому. В доме остались одни голые стены. Приехала подвода с милиционером — увезти труп. Когда тело погрузили, возчик увидел под седьми космами умершей что-то блестящее — и вынул из ее ушей золотые серьги с бриллиантами баснословной цены.

Далее история дома вступила в новый этап. По-

сколько наследников не оказалось, он перешел в жакт. В нем поселилась семья паровозного машиниста и молодожены-учителя.

Зацвели в палисаднике астры и настурции, закудахтали куры, забегали дети мал мала меньше.

Но мать машиниста, бабушка Феня, упорно считала дом несчастливым, потому что дети жестоко болели. Она приписывала все беды старухе штундистке, душа которой тоскует по золоту.

Сын уговаривал мать, разъяснял ей, бранился, но в конце концов, чтобы ее успокоить, вынужден был протыкать весь участок длинным железным щупом. Злясь и чертыхаясь, лазил под дом, копал там; собрал головой всю паутину на чердаке, обыскивая углы.

Никакого золота он, конечно, не нашел, но вытащил из подполья два надбитых розовых горшка, в которых никогда не варилась пища. Из-за них басня о золоте даже как бы зажила второй жизнью. Машинист Павел Карпович и сам был озадачен, найдя эти горшки, хотя очень сердился, когда при нем упоминали о них.

Бабуся Феня была неправа. Дом был и счастлив и несчастлив по-своему, как все дома на свете.

Приходили, сменяясь, болезни, беды, удачи. Дети росли, учились, били стекла, ездили в лагеря, падали с деревьев, приносили похвальные грамоты. Машинист Павел Карпович едва не попал с поездом в катастрофу, перенес операцию почек, за долгую службу получил орден, жена его как-то решила с ним развестись, а потом помирились, праздновали серебряную свадьбу.

На половине супругов-учителей постоянно толклись школьники, приходившие к учительскому сыну Андрюшке проявлять фотографические пластинки и запускать воздушных змеев. Каждое лето треть дома аккуратно пустела: учитель, его жена и сын уезжали в путешествие. Они привозили из Сибири кедровые орехи и шишки, с Кавказа — морские ракушки и круглые белые гальки, которые бабка Феня использовала вместо яиц «на поклад» в куриные гнезда.

В июле 1941 года учитель Илья Ильич ушел на войну. Он погиб при бомбежке Одессы. Могилу его Татьяне Сергеевне не удалось отыскать.

Андрюшка, на горе матери, вырос как раз к войне — и тоже ушел на фронт. Но его судьба щадил.

Всю войну мать получала от него скупые треугольные письма, изредка фотографии. За войну она видела его только один раз, зимой, когда Андрей ехал из госпиталя. Он стал худой, погрубевший, в невыносимо отдающем овчиной полушубке, какой-то чужой, а главное — легкомысленный. Она, конечно, плакала, охала, наказывала беречь себя, не рисковать понапрасну. А он возражал: «Ну что ты! Главное все делать с головой, тогда совсем не так опасно, как ты воображаешь». С головой-то с головой, но пуля ведь не разбирается, находит и умного и глупого.

Но в глубине души она, в силу какого-то неистребимого женского суеверия, которое можно было бы назвать отчаянной надеждой, была убеждена, что сыну Андрею суждено миновать все пули и снаряды. Эта уверенность была необычайно сильной, какая-то материнская интуиция, шестое чувство, хотя, впрочем, у Татьяны Сергеевны прибавлялось на голове седых волос, если письма почему-либо задерживались. Андрей должен был остаться невредимым хотя бы уже потому, что погиб отец, словно дань судьбе была уплачена.

И ее надолго жестоко обидело то, что Андрей без ее согласия, даже не поставив в известность, вдруг женился на какой-то фронтовой девице из связисток.

Она многое ему прощала, была доброй матерью, но тут ее очень это обидело. Может быть, эта связисточка была и хорошей девушкой, но ведь мать имела право быть причастной хоть немного ко всему этому. Не помня себя от возмущения, она написала сыну предостерегающее письмо: что она считает все это несерьезным, мальчишеской дурью, что, как правило, все эти ГПЖ — походно-полевые жены — нехорошие, распущенные женщины, в трудное время войны только и помышляющие, как бы окрутить какого-нибудь холостого офицера, вроде Андрея.

Связисточка, которую звали Ирой Лопухиной, написала свекрови пространное письмо, в котором назы-

вала ее «мамой». Но свекровь, дрожа от негодования, написала в ответ такое едкое послание, что связь оборвалась.

А через три месяца Татьяна Сергеевна получила известие, что сын погиб при взятии Кенигсберга.

2

В ту ночь, когда, по словам Татьяны Сергеевны, ей снился дурной сон, все было как раз наоборот. Ей снился хороший сон.

Удивительный, счастливый, неповторимый.

Они с сыном Андреем шли по Кенигсбергу, ныне Калининграду. Было душное лето, деревья томились от жары, вокруг была городская шестрота красок, движение, приятно пахли клумбы. И вот они увидели колоссальный, уходящий в небо монумент, на котором высечено:

Здесь похоронены
тысяча двести гвардейцев —
отважных воинов 11 гвардейской армии,
павших при штурме
города-крепости Кенигсберга

«Тысяча двести. . .» — ужаснулась она такой цифре, и словно отдаленный пром слов потряс воздух. «Тысяча двести гвардейцев. . .»

Сколько же это было человеческих судеб, умов, страданий, крови, мяса, если вспомнить, что Андрей — лишь один из них.

Ее отвлекла странная мысль о том, что она никогда не была в Калининграде, но сразу узнала этот памятник и местность. Недавно в их школу перевелась из Калининграда учительница биологии Клава Жейко, она рассказывала о памятнике.

И вдруг Татьяна Сергеевна почувствовала себя легко-легко, она понеслась втрипрыжку, чуть касаясь носками земли. Она — девчонка, выпускница. У нее все впереди, как у всех девчонок на свете, только она уже прожила жизнь, и теперь ей было известно, как это произойдет. Но, как в игре, предполагалось, что она

этого не знала, а все предстояло взаправду, всерьез пережить.

Вот скоро, совсем скоро, на днях случится нечаянное знакомство на почте. Потом встречи у памятника Гоголю, свидания до утра, концерты в Народном доме. Потом он — муж, ее добрый, ласковый, застенчивый, неунывающий Илья. Тяжелая студенческая жизнь, столовки, свидания на чужих квартирах, назначение в одну школу. Будут краснознаменные классы сплошной успеваемости. Будут поездки на Байкал, на Севан и Ладогу. Диковинные шишки и круглые гальки в куриных гнездах.

Родится мальчик весом три килограмма пятьдесят граммов. У нее не будет хватать молока, у мальчика начнется диатез, в одиннадцать месяцев он перестанет спать ночами и изведется от крика. В пять лет он едва не умрет от двусторонней ангины. Но он выживет! Появятся проявители, воздушные змеи, кролики, драки, непреклонный отказ сидеть на одной парте с девочкой, торжественное вступление в комсомол.

Потом чудовищное, не укладывающееся ни в какие понятия нашествие. Сирены, кресты на окнах, кресты на крыльях самолетов, свежие газеты, разбрасываемые по улицам с военных грузовиков, школы, забитые танеными. Илья Ильич погибнет при бомбардировке Одессы, но она будет любить и верить, потом погибнет сын, но она будет ждать и верить.

И вот теперь, спустя много лет, оказывалось, что она была права — с ее чутьем, шестым чувством, надеждой наперекор всему.

— Андрейка, — заговорила она с сыном, вернее, не она, а та девчонка-выпускница, в которую она играла. — Почему ты не в форме? Все мужчины в форме, а ты не в форме!

— Ну я же говорю: нас отпустили, — терпеливо, как маленькой, объяснил он.

Она забежала вперед, все хотела заглянуть ему в лицо. Но он смотрел по сторонам, жадно разглядывал все (ведь он столько не видел за эти годы, так отстал!).

Она не обижалась. Уж кому-кому, а ей, педагогу, известно, как это бывает с сыновьями: слушали-слушали

родительские нотации, ласкались, прятали лицо в маминны ладони, а выросли — и конец. Дочки — те больше привязываются. Но она была счастлива хотя бы уж тем, что могла бежать рядом, смотреть на родное лицо. Оно стало худое, резкое, сердитое — но это обманчивая видимость, второй экземпляр отцовского лица. Тот тоже с виду был суров, а ведь трудно было отыскать человека мягче и ласковее. Мальчишка фасонил. Хмурил брови, морщил переносицу, а глаза выдавали все равно — добрые карие глаза. Это у него единственное от матери — карие глаза. У отца были серые. Красивый мальчик. Счастливой будет та девушка, с которой не пойдет он домой до утра. Мать сама, как та девушка, готова была уже влюбиться в него, как когда-то в Илью Ильича. Андрей только посмелее отца, поразвязнее.

— А как ты полагаешь, отца тоже отпустили? Ведь он старшего возраста, — глубокомысленно поделилась она своими соображениями.

— Конечно, — авторитетно сказал Андрей. — Теперь нас всех демобилизуют.

— Да, я знаю, об этом писали в газетах. . .

— Ах, мам, нет! — с досадой возразил он. — То живые, то другое дело. Ты все напутала. Нас — в первую очередь.

Тут у Татьяны Сергеевны внутри все холодеет. Она вдруг понимает всю сверхъестественность происходящего. Ведь Андрей где-то был, в каком-то иррациональном небытии, долго, томительно ожидая, пока выйдет освобождение. И они все ждали, ждали, неподвижные в этом небытии. . .

— Да нет, — мимоходом прочел он ее мысль, — там были дела.

— Какие? — поразилась она.

— Строили.

— Что?

— Все это. А ты разве не знала? Мы сюда ходили по нарядам каждый день и строили.

«Так чего же ты глазеешь по сторонам! — чуть не крикнула она. — Что же ты не посмотришь на меня?» Но ей стало стыдно оттого, что она такая несмышлеха, а еще она считала сына отставшим от жизни.

— А отца ты не встречал?

— Искал, я все время искал... И он, наверное, ищет, но... мама, пойми, ведь нас множество миллионов только за эту войну.

— Как же мы его найдем, Андриюшенька?

— Я думаю, надо сначала поехать в Одессу. Только ты не паникуй и не беспокойся. Ведь он сам не маленький. Может, он уже ожидает нас дома, а мы и не знаем. Адрес ведь прежний?

Радость захлестнула ее. Да ведь правда! Адрес действительно прежний, нужно сейчас же, немедленно мчаться на Землянку, хоть пешком, поскорее!

Наконец-то в мире все переменялось, пришла полоса чудес, все стало таким, как мечталось, все стало возможным, все мучительные страдания были не напрасны, а имели глубокий, подспудный смысл. Она старалась постичь этот смысл, понять его до конца, и понять причину того, что вот они шли и шли, так много и долго, а грозный памятник ничуть не отставал. Стоило повернуть голову, чтобы увидеть эти пахнущие порохом, громяющие канонадой слова:

...тысяча двести гвардейцев —
отважных воинов 11 гвардейской армии,
павших...

Будто этот памятник обязан сопровождать каждого человека всю жизнь, все столетия, каждого современника и потомка — и так нужно, иначе жизнь перестанет быть понятной.

Проснувшись, Татьяна Сергеевна сообразила, что ей было жарко от раскаленной печки, что приподнятое настроение пришло во сне оттого, что она, вопреки дурной привычке, спала не на левом, а на правом боку.

Но это еще не было полное сознание. В груди еще пульсировала радость: наконец-то всех оттуда отпускают. Потом она сказала себе: «Постой-ка, ведь все это приснилось от начала до конца...», и волна за волной стала накатываться трезвость; вещи становились на свои места; желтоватый рассвет пробивался в форточку.

Наконец выяснилось и то, что до рассвета еще далеко, а просто в окно светит уличный фонарь, позолотив висящие под крышей сосульки, и нужно спать дальше, а сон слетел, как выметенный метлой, — она села в постели, попыталась говорить себе испытанные успокаивающие логичные слова, но это было уже чересчур. Тогда она прислонилась лбом к жаркой печке, закрыла рот ладонями и тихо, монотонно застонала.

3

Карелина уходила на работу обычно очень рано и приходила первой. Вторым приходил математик Шубман.

Она шла и думала, что вот выпал снежок, а она, как всегда, первая топчет следы к парадному, и будет идти Шубман, он по следам узнает, что она уже здесь, но это его не удивит; он удивится, когда однажды следов ее не окажется.

Сторожиха спала. Пришлось долго колотить в дверь, пока раздалось гулкое эхо шагов, и сонная тетя Дуся, звякая ключами, зевая, отперла дверь, впустила ее.

В эти утренние часы школа бывала совсем не такой, какой ее знали ученики. В ней было и пустынно и уютно вместе с тем. Темные, с блестящими натертыми полами коридоры, и замершие пальмы в кадках. Случайные шаги сторожихи и хлопанье двери, отдающееся по всем этажам. Задумчивые взгляды классиков из полутьмы стен.

У Татьяны Сергеевны было свое любимое место в учительской, у батареи. Повесив пальто, пограв руки, она уютно устроилась, обложилась журналами и методиками и принялась составлять план.

Сорок с лишним лет назад в старом барском доме была открыта начальная школа, и Татьяна Карелина пришла в нее прямо из педагогического училища. У нее сохранилась фотография тех времен: полсотни карапузов всех мастей и возрастов, в опорках, с сумами через плечо, в налезавших на глаза треухах, платках — и среди них молоденькая, растерянная учительница в косынке. Это был первый ее класс.

Школа быстро разрасталась, стала задыхаться в тесноте, занятия пошли в три смены. В 1934 году было выстроено новое здание, вставшее среди старых, косых домишек Землянки, как Гулливер среди лилипутов.

Со сдачей его строители опоздали к 1 сентября, и великое переселение с песнями, докладами и барабанным боем произошло 14 сентября 1934 года. Вечером учителя устроили банкет. Татьяна Сергеевна танцевала много, пьяная от вина, от полноты ощущения жизни. Ей по очереди объяснились в любви директор Денис Соловьев, историк Вася Щепкин и физкультурник — фамилию его она забыла.

Почему-то из всех хороших событий, из всех вечеров всплыл в памяти именно этот.

Денис Соловьев был их товарищ по училищу — первый и бессменный директор школы. Пришел учиться он прямо с фронта — юный, глупый, замученный парнишка в обмотках. Два десятка лет продиректорствовал, и в 1941 году уходил добровольцем в армию пожилой седоватый человек с астмой и больной печенью.

Было отчаянное время.

Днем вдруг прерывались уроки, и учителя вели свои классы в бомбоубежище. После занятий носили мешки с песком, выкладывая баррикаду через улицу. Через двор и сад прорыли противотанковый ров. От близко упавшей бомбы вылетели стекла в окнах левого крыла, того, где сейчас учительская.

Занятия прекратились. Учителя круглосуточно дежурили у телефона в директорском кабинете. Татьяна Сергеевна была на дежурстве, когда Денис Соловьев пришел сдать ключи.

Он был в ватнике, с вещевым мешком за плечами, в каких-то нелепых бутсах. «Может, еще увидимся», — сказал он и поцеловал ее. Потом выяснилось, что она была последним человеком в школе, видевшим его. Соловьев исчез в войне, исчез без всякого следа, будто никогда не было такого человека.

Чуть ли не с последним эшелонам, под непрерывной бомбежкой Карелина с сыном выехала на восток. Илья Ильич тогда уже был под Одессой.

В Свердловске призывали Андрея. Она жила с пятью

другими учительницами в красном уголке районо, из-за нестерпимого холода раньше других бежала в пустую, но теплую школу, садилась у печки и составляла планы. С тех пор осталась эта привычка.

Вернувшись в 1943 году, она не нашла на Землянке школы. Остались стены с закопченными проемами окон. Тетя Дуся рассказала.

Во время немецкой оккупации в школе было «управление по набору рабочей силы в Германию». В последние месяцы перед отступлением здание было занято под немецкую казарму, а на первом этаже в классах стояли кони. С приближением фронта казарма превратилась в госпиталь.

В день отступления какие-то офицеры приехали на машине и подожгли школу. Она горела много, много дней, медленно и лениво, хватило бы одного шланга, чтобы погасить, но вокруг шел бой, на спортплощадке двора стояли орудия, падали, завалив площадку гильзами. Дом сгорел дотла, до последней деревянной ручки.

Сторожиха две недели просидела в погребе, питаясь одной картошкой. Ее дочка, учившаяся у Татьяны Сергеевны, была в качестве «рабочей силы» отправлена в Германию на военный завод и там погибла при налете американской авиации.

Занятия начались опять в полуразрушенном барском особняке. Забивали окна фанерой, затыкали щели тряпьем; в классах замерзали чернила; писали на оберточной бумаге; ученики, идя в школу, несли по полону дров.

Районо назначил комиссию по обследованию развалин, с тем чтобы выявить что-нибудь пригодное для ремонта или топлива. Татьяна Сергеевна вошла в эту комиссию, и однажды они пошли в сгоревшую школу.

Двор был изрыт воронками, усыпан гильзами, валялись полусгнившие бинты с бурными пятнами, у входа в котельную стоял обгоревший германский вездеход.

Сквозь проемы окон виднелись рухнувшие перекрытия. Заглянув в свой класс, Татьяна Сергеевна обнаружила в нем ржавые железные крючья с кольцами, вбитые неровным рядом в стены. Она не могла понять, что

они означают, но вспомнила рассказ сторожихи о том, что на первом этаже стояли кони.

Удивленная комиссия обнаружила, что обе каменные лестницы уцелели до самого чердака. Попробовали подняться. Ступени были завалены штукатуркой, искореженным железом. Двери с лестничных площадок вели в зияющие провалы. В трещинах стен гнездились галки, с криком взлетавшие при появлении людей.

На лестнице стены сохранили свою покраску, которая только местами полопалась от жара, и тут-то Татьяна Сергеевна впервые узнала свою школу. Ведь это здесь, по этим ступенькам поднимались тысячи ребят-шек, задыхаясь, шагал Денис Соловьев, взбегал Андрияшка, ходила она с Ильей Ильичом. Почему-то из всех одной ей довелось вернуться, чтобы увидеть то, что осталось.

Потом начались каждодневные походы сюда всех классов, и она тоже водила свой класс. Дети, забавляясь, тащили железные листы, разбирали кирпичные завалы, пока не докопались до уцелевшего кафельного пола вестибюля.

В 1946 году школа была полностью восстановлена. Все, что было до этого, слилось в памяти Карелиной в одну серую череду закопченных кирпичей, искореженных листов, замерзающих чернил, чадающих железных печек, пайков по карточкам, дырявых сапог.

Если бы стены могли, подобно магнитофону, хранить в себе звуки, если бы всплыло все, что происходило в этих стенах, — этот «набор рабочей силы в Германию», этот какой-то невероятный скачок социальной истории вспять, возврат к эпохе рабства, или ржание лошадей в классах, или эта казарма, стоны раненых и умирающих, грохот обваливающихся перекрытий, крики потревоженных галок, голоса семи- и восьмилетних «восстановителей», — одного этого было достаточно, чтобы свести человека с ума.

Стены не помнят. Человек тоже забывает, иначе нельзя было бы жить на свете. Ныне ее малыши визжат, дерутся по коридорам, съезжают по перилам тех самых лестниц, и она ходит, тетя Дуся ходит, ворчит, бранится, звякая ключами, как будто никогда не было

разбойной, обездоленной Землянки с кожевненным фабрикантом, «планом Еропланом», детей с сумами через плечо в барском особняке, переселений с барабанным боем, баррикад, железных крючьев в стенах, галок, гнездящихся в трещинах...

Но разве история на этом кончилась? Что будет еще? И какое?

Размышления старой учительницы прервал отдаленный стук парадной двери, затем шаркающие шаги. Пришел Шубман.

Он появился сгорбленный, суетливый, с истрепанным незастегивающимся портфелем под мышкой, из которого выглядывали линейки, угольники, циркуль со вставленным мелком.

Портфель этот был памятен многим поколениям школьников, которые называли его «бомбовозом». Лет пять назад учителя как-то сговорились и на день рождения Шубмана преподнесли ему роскошный кожаный портфель с массой отделений, застегивающийся ремнями, с именной пластинкой.

Старый математик был глубоко расстроган, несколько раз приходил в школу с новым портфелем, а потом опять явился с «бомбовозом», да так больше никто нового портфеля и не увидел.

4

— В этом году март со снегом, — сообщил Шубман, снимая калоши и водружая «бомбовоз» на стол. — В прошлом году март тоже был со снегом...

— Вам нездоровится? — участливо спросила Татьяна Сергеевна.

— Просто философствую, — буркнул Шубман, вытаскивая вороха бумаг из портфеля.

Он преподавал в семи классах, и трудно было постичь, как при своей безалаберности он умудряется не запутаться в этом хаосе домашних работ, классных тетрадей, контрольных.

У него были две замужние дочери — одна за инженером в Ленинграде, другая за каменщиком в Саратове, но, хотя они звали его, он не ехал, а оставался

сам по себе. Жил в холостяцкой запущенной квартире на дальнем конце Землянки, без парового отопления и прочих благ, ходил с ведром к колонке за водой, ученики пилили ему дрова и помогали относить на почту посылки, которые он отправлял регулярно каждую неделю.

Когда его спрашивали, почему бы ему не уступить дочерям и не переселиться к ним на все готовое, он сердился и кричал, что нет ничего хуже, чем жить с родными детьми, которые смогут попрекать куском хлеба, что они, конечно, мягко стелят, но тесть хорош только тогда, когда он приезжает изредка в гости и не засиживается.

— Мы, — пробормотал Шубман, — конечно, как где-то написано, слезли с дерева и научились сморкаться, изобрели калоши и атомные реакторы. Но изменилась ли существенно жизнь? Вот крамольные мысли старика.

— Какой же вы старик, Михаил Исаакович? — сказала Карелина.

— Я старик, и мне по штату положено подумать о бессмысленности, — сказал Шубман, вытряхивая в корзинку мусор из портфеля. — Дорого бы я дал за то чувство удивления и любви, которым мы обладаем в молодости. Готов поклясться, Татьяна Сергеевна, — не за силы, розовые щеки и усы, — за удивление! Ужас старости не в том, что стареет тело, а в том, что костенеет дух. Я очень наивно говорю?

— Может, мы и сами виноваты, — вздохнула Татьяна Сергеевна, и ей вдруг захотелось поделиться своим недавним чувством, навеянным воображаемой картиной германской казармы, госпиталя, пожара. — Удивляться есть чему. Вы скажите: разве не удивительно хотя бы то, что в этих вот стенах учатся дети и кошмары прошлого не касаются их?

— Кошмары прошлого! — фыркнул Шубман. — Когда вам стукнет восьмой десяток, вы заговорите, как я. Ведь вы не станете толстой и доброй бабушкой семейства, вы не забудетесь в заботах, вы одиноки, вам останется жить два года или год, в марте выпадет снег, вы скажете, что это кошмар. Мы сами были детьми, которых

не касались ужасы прошлого. Затем они стали нас касаться. Мы изучали их, вероятно затем, чтобы учить этому других, и добросовестно учили пропасть лет, всю жизнь, чтобы они, эти дети, заняли наше место и учили новых детей, пока сами не умрут, а в марте будет выпадать снег. Как просто и чудно! Кто это выдумал и кому это надо? Извините, — сердито сказал Шубман и углубился в тетради.

Татьяна Сергеевна не ответила, да и что ответить на такой странный крик старика, уместный больше в устах юного пессимиста, а не прожившего жизнь человека. Вообще сегодняшний день начался необычно. Всегда они с Шубманом сидели каждый в своем углу и работали молча, лишь изредка перекидываясь незначительными замечаниями. В этом умении молчать было что-то устраивавшее обоих.

Татьяна Сергеевна учила каждую группу четыре года, с первого класса по четвертый. Шубман преподавал в старших классах. Малята Татьяны Сергеевны переходили к нему; она узнавала на его тетрадях знакомые имена, была рада, если лучшие ее «математики» отличались у него, радовали его.

— Как ваши внуки, Михаил Исаакович? — помолчав, спросила Карелина. — Как в Ленинграде?

— В Ленинграде ничего. В Саратове плохо, — сказал Шубман нервно. — Я поражаюсь: мальчишке девять лет, а у него годами болит желудок, и никто не может вылечить. Так что же будет дальше, я вас спрашиваю?

— А что говорят доктора?

— Доктора, доктора! Что они говорят! Ничего они не говорят! Ничего они не понимают! А мне ничего не пишут, все скрывают, может быть, у него катар, может, язва, может, еще хуже. А я не знаю даже, куда бежать, какое искать лекарство.

— Когда-то я лечила моих одним чудодейственным средством от желудка, — сказала Татьяна Сергеевна. — Это алоэ, иначе его называют столетник.

— Верно! Я достану и пошлю, — сказал Шубман. — Я вам очень признателен. Я хочу, чтобы он жил, и сам хочу еще жить, я не могу спокойно думать о том, что человечество накапливает атомные бомбы вместо того, что-

бы затраченные на них силы употребить на продление жизни. Парадокс какой-то: изобретаем средства уничтожения, а не продления!

— Такими уж странными путями движется прогресс, — заметила Карелина.

— Старик Бернارد Шоу говорил: «Что вы мне толкуете о прогрессе? За последние три тысячи лет я что-то не могу припомнить никакого прогресса». Всегда люди хотели жить, всегда любили, страдали и умирали, независимо, обладали ли они реакторами или нет.

— Неправда, неправда, Михаил Исаакович! — сказала Татьяна Сергеевна.

— У нынешних молодых до предела истощены нервы, — продолжал, не слыша, Шубман, — от атомных излучений начали рождаться дети-уроды, опасно все, опасны даже радиоволны, которыми недавно американцы убили дюжину обезьян. Или вы называете прогрессом то, что в последней войне убивали более зверскими способами, чем в каменный век? Вам известнее, вы потеряли мужа и сына.

— Нет, вы неправы, Михаил Исаакович! — воскликнула Карелина. — Нужно различать, кто убивал и почему. И войны есть справедливые и несправедливые. Только из этого надо исходить, чтобы понять, что к чему.

— Если по воле каких-нибудь новых выродков разразится война и все человечество полетит вверх тормашками — разбирайтесь тогда, что к чему! — выкрикнул Шубман.

— Этого не будет.

— Кто вам гарантировал?

— Я не знаю, не знаю... но этого не должно быть. Не может быть, чтобы во всех страданиях тысяч поколений людей не было смысла! Вы вспомните, вы вспомните... — волнуясь, с болью заговорила Татьяна Сергеевна. — Неужели мне вам напоминать?.. Первобытный ужас существования, древнеегипетское рабство, русское крепостное право, наконец, Землянку с кожевенным заводом. В этом своем парадоксе Бернارد Шоу хотел сказать совсем не то, что вы прочли. Вспомните средневековую чуму, оспу, холеру!.. Атомная энергия

излечивает раковые опухоли... Зачем вы умышленно причиняете мне боль, говоря о моем муже и сыне?.. Вы же знаете, что я ничего не могу возразить, и пользуетесь таким жестоким доводом! Это жутко, это... непостижимо рассудку, что каждый шаг вперед совершается ценой таких жертв... Но, Михаил Исаакович, но наши внуки уже будут жить в мире без войн, в мире коммунистически справедливом и совершенном. Подавляющее большинство людей уже выросло, уже пришло к мысли о необходимости такой жизни. Эту жизнь человек увидел после пяти тысячелетий поисков и страданий. Значит, все-таки есть смысл, был смысл — и какой смысл!.. Если это вас не убеждает, я не знаю уж, как с вами говорить.

— Как применяется столетник? — спросил Шубман. — Вы не объяснили мне.

— Нужно настоять его в красном сладком вине и пить натошак чайную ложку, — сказала Татьяна Сергеевна. — А еще лучше просто пожевать кусочек сырого листа, тоже натошак. Моим это всегда помогало.

А школа между тем оживала, все чаще хлопали двери, раздавались голоса. Наряду с категорией учеников опаздывающих есть категория приходящих чуть свет, бегающих по классам, хлопающих партами, выводящих из терпения тетю Дусю. Почему им не сидится дома, что их так тянет в школу?

Пришла завуч, пришли две подружки, Вера и Клава, молодые незамужние учительницы, одна по истории, другая по биологии, та, что перевелась из Калининграда.

— Ну какой хулиганский класс вы мне передали, Татьяна Сергеевна, — сказала Клава. — Предупреждаю, я откажусь быть у них классным руководителем, если вы с ними серьезно не поговорите.

Это была обычная история: переходя в пятый класс, лишаясь прежней учительницы, к которой они за четыре года привыкли, дети бузили, никто им не нравился, учителя бежали с жалобами к Татьяне Сергеевне, и ей приходилось долго еще неофициально шефствовать над классом, приходить к ним, пока они «переболеют». Она сама всякий раз с болью отрывала от сердца очередной класс.

— Вы только представьте, — сказала Клава. — Прихожу я вчера в кабинет, они сбились в кучу на полу и устраивают гонки лягушек. А когда мне подложили лягушку в портфель! И это все ваш Хабаров! Ваш любимчик!

— Я поговорю, — пообещала Татьяна Сергеевна. — Не будь, Клавочка, слишком непримиримой. Ты со мной еще согласишься, что он большой умница, только у него силенки кипят. Такие самые трудные, но, если с ними поладить, вот увидишь, он в десятом классе влюбится в тебя и еще заревет, расставаясь.

— В меня невозможно влюбиться, Татьяна Сергеевна, — шутливо махнула рукой Клава. — В таких старых дев, как я, уже не влюбятся!

Хотя это было сказано шутливо, но за ним крылась своя ложка дегтя, и Татьяна Сергеевна захотела утешить:

— Никто не знает, когда и как приходит любовь. Бывают такие невероятные случаи. . .

— Что ж мне, ждать этого невероятного случая? — насмешливо спросила Клава.

День положительно был ненормальный. Никуда невозможно было уйти, чтобы не думать. «Да, вот оно, обиженное поколение девочек, — по-бабьи практически подумала Татьяна Сергеевна. — Женихи их сложили головы на войне, а они хорохорятся, работают весело и самоотверженно, годы же идут, и особенно здесь, в школе, в сугубо женской среде — где им найти мужа? Это же, если разобраться, не пустяк, это же трагедия. . .»

От звонка она вздрогнула, как от резкого прикосновения. Сорок лет она слышала звонок, но сегодня впервые ей пришла в голову мысль, что ведь это похоже на театр: звенит звонок, она идет на сцену, ее появления ждет маленький зрительный зал, и четыре часа подряд она будет выступать перед этим беспокойным залом, владеть его доверчивым или рассеянным вниманием, без всякой заранее написанной роли, на сплошном экспромте будет работать четыре часа, и это давно не вызывает в ней страха. А ведь как это было страшно и сложно когда-то для бедной перепуганной девочки

в косынке! Ей не только подкладывали лягушек, подставляли сломанный стул, выпускали воробьев, — у нее взрывали под столом патроны, стреляли в затылок из рогатки. Нервный, нетерпеливый человек мог бы решить, что это не дети, а сплошное сборище маленьких извергов. Но как же они ее и любили, эти изверги, и как она любила их! Она знала, что сегодня придет в класс Клавы, — и они все будут сидеть тише воды ниже травы, виноватыми, жалобными глазами глядя на нее, а она их отчитает, выбранит, устыдит самыми жестокими словами. Они окружают ее, будут тереться и хныкать: «Как нам без вас плохо, Татьяна Сергеевна! Учите нас дальше вы, нам никто не нужен. . .»

Так было со всеми классами, так будет и с тем, который она ведет сейчас. Впрочем, потом они забывают помаленьку, а после выпуска — хорошо, если узнают и здороваются на улице. Некоторые пишут письма, но это скорее исключение, чем правило. Да как же иначе и может быть?

Она взяла журнал, встала и пошла на сцену.

5

Маленькая аудитория встала при ее появлении — нестройно, стуча крышками парт. Она сделала перекличку, с каким-то свежим интересом вглядываясь в знакомые лица, словно сегодня ожидала увидеть их с новой стороны.

По глазкам Боброва она увидела, что он не сделал домашнего задания, и вызвала его. Так и оказалось. Бобров был озадачен и перепуган. Она строго отчитала его, но двойку не поставила.

За окном на вершине акации подрались воробьи, их слетелась большущая стая, и весь класс неудержимо повернулся к окну.

Татьяна Сергеевна тоже посмотрела в окно. Воробьи дрались отчаянно, и было что-то в их писке такое мартовское, весеннее, почки на акации разбухли, снег таял, с крыши капало.

Позволив классу вдоволь наглядеться на воробьиную

драку, Татьяна Сергеевна, вздохнув, вызвала Томашека, и этот рыженький неуклюжий карапуз долго, мучительно заикался, отвечая, а все слушали, наклонив головы, и было видно, что он знает урок, старательно готовил его, но не умеет красно говорить. А Татьяна Сергеевна про себя считала, что ему нужно избавляться от неловкости, научиться правильно излагать свои мысли, поэтому она поставила ему «четыре», хотя тотчас пожалела об этом.

Тогда она вызвала свою неизменную отличницу Беленькую, и та вспорхнула с места так охотно, словно сутки ждала этого момента. Беленькая тараторила связно, красиво, легко, изнывая от счастья всезнания, боясь, как бы ее не остановили. Татьяна Сергеевна предоставила ей такое удовольствие, дав высказаться до конца, хотя опять пожалела об этом. Не следовало этого делать, нужно было ставить Беленькой хотя бы изредка «четверки». Но она обескураживала учительницу своим безупречным знанием, а потребовать чего-нибудь сверх задания было бы нечестно. Татьяна Сергеевна поставила ей «пять» без особого удовольствия — и опять пожалела Томашека.

— Татьяна Сергеевна, а Тряпкин пьет чернила! — сказала классная ябеда Зина Мосина; ей дали сзади тумака, и она завизжала: — А Хабаров дерется!

— Хабаров, встань, — сказала Татьяна Сергеевна. — Знаешь, Хабаров, когда мужчина бьет женщину, это уж совсем скверно.

— Она мне плюнула в ухо, — сердито сказал Хабаров.

— Неправда, я не плевала, у меня нечаянно! — завизжала Зина Мосина. — А что он меня обзывает «моськой», я не собака!

— Тряпкин, — сказала Татьяна Сергеевна, — пойди в уборную и вымой рот. Пить чернила нельзя, они ядовиты. Хабаров, можешь сесть.

Тряпкин с черными губами и чернильными подтеками по подбородку прошаркал по классу и скрылся за дверью.

Татьяна Сергеевна знала, что ему только этого и нужно было, что он теперь не явится до конца урока,

а пойдет шляться по коридорам, залезет на чердак, чо она не могла оставить его в таком виде на уроке. Он был сыном директора магазина, дома отец лущевал его нещадно, но ленью он обладал какой-то феноменальной, и все усилия родителей и учительницы пока не приводили ни к чему.

Зина Мосина, дочь работницы с картонажной фабрики, огорчала ее. Ее недаром дразнили «моськой»: она задирала всех и вся, но виноватыми неизменно оказывались другие, вроде спокойного, рассудительного Хабарова. Это был младший брат того Хабарова, о котором шла речь в учительской, такой же прямой, честный мальчуган, но более замкнутый, какой-то более серьезный в отличие от кипящего энергией брата.

Можно было бы разобраться в инциденте по справедливости: кто кому плюнул в ухо и прочее, но Татьяна Сергеевна вдруг почувствовала такую невероятную усталость, и безразличие, и безнадежную грусть, — она положила свои тонкие морщинистые руки на журнал и сказала:

— Следующая Аптекарева...

Аптекарева была дочерью большого партийного работника, высокая и хорошенькая девочка с бантами, в изящных туфельках, безукоризненном передничке — видно, за ней очень следила мать и очень ее любила. В больших, красиво разрезанных, каких-то вопрошающих глазах отражались оконные переплеты и кусочки мартовского неба. Хорошая, обыкновенная девочка, без заскоков.

«Что тебя ждет? — примерно так думала учительница, слушая ее. — Вырастешь ты в хорошую обыкновенную девушку, из Аптекаревой станешь Ивановой, Петровой, Хабаровой, познакомившись с ним на почте, на концерте, в походе... Родишь сына, он будет проявлять пластинки и строить приемники... или дочку, будешь наряжать ее, наглаживать банты. И вот тогда...»

— Татьяна Сергеевна! Петров пускает ракету! — сообщила «моська».

— Дай сюда, — сказала Татьяна Сергеевна.

— У меня нет, — сделал хитрые глаза Петров и поднял руки.

— Потерпи немного — выучишься, будешь пускать настоящие ракеты, а пока сиди смирно, — строго сказала учительница.

Она знала, что бумажная стрелка лежит у Петрова на коленях, но не стала углубляться в этот вопрос и продолжала рассеянно слушать Аптекареву.

«Дети мои, — подумала она. — Люди мои...»

Аптекарева кончила и смотрела на нее, несколько недоумевая.

— Садись. «Пять», — сказала Татьяна Сергеевна неуверенно, так как не слышала, что та говорила. — Теперь перейдем к письму. Раскройте классные тетради. Напишите: «Диктант». Слушайте внимательно и пишите без ошибок.

6

Придя домой, Татьяна Сергеевна, как обычно, достала из почтового ящика «Известия», «Пионерскую правду» и сверх того официальное письмо.

Без особого волнения она распечатала письмо и прочла: «Уважаемая тов. Карелина Т. С. На Ваш запрос сообщаем, что пока, к сожалению...» и т. д. и т. д. Ее — в который уже раз! — просили указать отчество, год и место рождения, воинское звание и другие возможные данные разыскиваемого лица.

Если бы Карелина знала это, но у нее не осталось даже того единственного письма, разорванного и выброшенного. В памяти сохранилась только подпись: «Ваша любящая невестка Ирина».

И, несмотря на это, многие люди Красного Креста и других организаций, куда она посылала запросы, старались разыскать, наводили справки, присылали письма: «К сожалению...»

Сколько Лопухиной могло быть лет? Если она осталась жива, она должна быть немного старше Клавды, учительницы биологии.

Квартира остыла за день. Татьяна Сергеевна переоделась, растопила печь, разогрела вчерашний обед. Зи-

мой она готовила сразу на три дня: на холоде долго стоит. Перемыла посуду, подмела пол, не особенно захватывая по углам.

И подумала, что, если теперь все запустить, в комнате станет так, как уже было однажды, — пустота, пыль, только без бриллиантовых серег.

Постучалась бабка Феня, принесла горячих, жареных в масле пирожков в миске, завернутой в полотенце. Это было ее «фирменное блюдо», она считала своим долгом время от времени оделять ими учительницу да заодно посудачить о том о сем.

Фирменным блюдом Татьяны Сергеевны в прежние годы была шарлотка с яблоками, но вот уже много лет, как она перестала ее готовить. Шарлотка ей разонравилась.

Бабка Феня была махонькая, кругленькая, подвижная и говорливая. Почему-то она говорила не «кушайте», а «кушайтё», а так как это слово она употребляла очень часто, без него невозможно было представить бабку Феню:

— Кушайтё, кушайтё на здоровье, уж больно вы похудели, и позаботиться о вас, сердешная, некому.

— Бабушка Феня! — смущенно сказала Татьяна Сергеевна. — Мы, женщины, худеем не потому, что некому о нас заботиться, а когда не о ком нам заботиться...

— Ой, что вы говорите! — всплеснула руками старушка. — Живите себе на здоровье, сама себе хозяйской, ни забот, ни хлопот — и не думайте! Как рассудить — до того уж наша бабья доля хлопотная, до того хлопотная, уж и свету божьего не видишь, да вам ведь хорошо, голубка, вам хоть позавидуй, право! Не думайте ни о чем, не печальтесь, кушайтё! Я так думаю... — бабка снизила голос до шепота, — что вам нонича черная штундистка снилась, больно вы стонали. А вы не думайте о ней. Бог с ней, старой ведьмой, право, Татьяна Сергеевна!

Учительница улыбнулась.

— Да не снилась мне штундистка! — успокоила она бабку.

А сама вдруг подумала, что штундистка ведь не все-

гда была старой ведьмой, что когда-то она была розовеньким барским дитем, вроде Аптекаревой, и — как странно — у нее тоже были муж и сын, которые погибли.

— Да что же это! — воскликнула она, ужаснувшись пришедшей мысли. — Они у нее погибли, а потом поселились мы, и у меня тоже погибли!

— Судьба не спрашивает, — вздохнула бабка. — Вот я и говорю: напрасно вы думаете...

— Но ведь погибли!

— То смотря за чего погибать, — не то наивно, не то мудро сказала старушка. — Вы себя с ними на одну доску не ставьте.

Татьяна Сергеевна тупо посмотрела на нее, все еще под впечатлением неестественной, почти суеверной мысли.

— Нехорошие люди были, — вздохнула старушка. — Вы не помните, наверно, а я-то знаю. С двенадцати годов за пятнадцать копеек в день на них стирала бывало, все руки себе ототрешь, придешь в землянку, плачешь, плачешь, а наутро опять. За пятнадцать копеек в день. А подросла — за тридцать копеек вонючие кожи в чанах мешала. Уйдешь затемно — и приволокешься затемно. Такая была жизнь. А чтоб они нас с вами на порог пустили? Едут на фаэтоне, бундючатся, на человека как на быдло глядят, гульба да балы, балы да гульба, я-то знаю, они за свое потому и насмерть стояли... За то они погибали. За золото за свое. Я неученая, да в жизни насмотрелась, другому на три хватило бы...

Татьяна Сергеевна знала ее невеселую жизнь. Родилась в землянке и выросла в ней. Пьяница-водопроводчик — первый муж. Ночью на мостовой его раздавила телега с бревнами. Было четверо детей, двое умерли грудными, третий на втором году, четвертый выжил, отдала в люди, сама работала у «пана Ероплана» на заводе. Война, голодовка, сын сбежал на паровозе к красным. Отважилась добираться на деревню к родителям мужа. Изнасиловали пьяные казаки. Хотела ночью в лесу повеситься, дед-пастух отговорил. Пришли красные, увязалась за ними — перевязывала, шила, сти-

рала. Еще один год была замужней — за командиром взвода пулеметчиков, «походно-полевой женой», пока взвод не попал в засаду и всех выбили до единого, а ее почему-то миловали, дали по шее и сказали: «Иди и не попадайся». О женская доля!

После ее ухода учительница долго сидела у окна и смотрела на пустынную улицу. Пирожки остыли и сморщились.

Татьяна Сергеевна спрятала пирожки в шкафчик, открыла пузырек с красными чернилами и принялась за кипу тетрадей по арифметике. Она привычно, почти машинально подчеркивала коряво написанные цифры, исправляла, ставила «5», «4», «3», причем тетради были так похожи на своих владельцев, что ей подчас не было нужды смотреть на обложку, чтобы определить фамилию.

Истрепанная, с пятнами жира и изодранной промокшей тетрадь Тряпкина. Начал писать, испортил страницу — вырвал. Сколько она воевала, сколько запрещала вырывать страницы! Сложил 43 и 27, вышло 600. Захлопнул тетрадь, все размазал и на том закончил труды.

Аккуратная, без малейшей помарочки — буквы и цифры как из прописей — тетрадь Беленькой. Можно не проверять: ошибок нет. Слишком хорошая тетрадь, показательная тетрадь, на выставку. Не столько способная, сколько феноменально усердная девочка, все готова сделать вдвойне, втройне, лезет в душу без мыла, все слова ловит на лету и избалована похвалами. Что-то в ней располагающее и — тревожащее. А поставить обычное «5» надо...

Татьяна Сергеевна вспомнила бедного зайку Томашека, которому она напрасно поставила «4», разыскала его тетрадку. Ну вот, чисто, хорошо, но в самом последнем действии забыл про единицу в уме. И почерк корявый. Ей так захотелось поставить ему «5», хоть возьми да исправь за него эту глупую ошибку!

«Сколько было молотилков?» — это, конечно, Молина.

Тетрадь Алтекаревой — в новенькой, фигурно вырезанной ножницами обертке. Рука мамы. Странички без

помарок, почти как у Беленькой, но опытный глаз замечает то там, то здесь подчистки, хитрые подчистки взрослого, не ластиком, а лезвием. Сколько раз запрещала подчищать! Татьяна Сергеевна безжалостно обвела подчищенные места: вот вам, не приучайте дочку к показной, запудренной красоте, из маленькой фальши вырастет большая фальшь, и настанет момент, когда она не сойдет с рук гражданке Аптекаревой, Петровой, Хабаровой...

7

Но как она ни тянула, тетради кончились.

Татьяна Сергеевна походила по комнате, поставила четыре стула на их место, вокруг стола. Взглянув на часы, она увидела, что еще не поздно, оделась и пошла в кино.

Дворец культуры кожевников был ярко освещен. У входа толпились совсем юные парнишки и девчонки, и когда Татьяна Сергеевна проходила мимо, они говорили про что-то свое, таинственное, девчонки нервно хихикали, а пареньки фасонили, дымя сигаретами.

На лестнице ее обогнали две девушки. «Я сопромат сдала, — говорила одна, высокая и белокурая. — У меня два билета на Лундстрема, если хочешь — пошли». «Руки у тебя какие ледяные!» — воскликнула вторая, кругленькая кубышка.

«Да, она долго ждала его у памятника Гоголю, он не пришел или опоздал, она с досады пойдет с этой славной кубышкой, беднягой, которая никого не ждала», — подумала с улыбкой Карелина.

В кинозале шла старая картина — «Евгений Онегин». Татьяна Сергеевна видела ее, но билет взяла. В буфете она купила десяток яблок, но есть расхотелось, она рассовала их по карманам, сама не зная, зачем они ей.

Она села в первом ряду, у самого экрана, вместе со старушками и мальчишками. Лента была старая, часто рвалась, и тогда мальчишки свистели и топали ногами. Звук тоже был какой-то заезженный, ползущий, в общем зрители остались недовольны, и на Татьяну

Сергеевну любимая опера на этот раз не произвела никакого впечатления, осталась только досада.

Когда она вместе со всеми вышла на улицу, опять по-новогоднему падал снежок. Откуда-то сверху, из-за окон зала, смутно доносились томные пассажи саксофонов, а у входа все так же группками стояли парнишки и девчонки, шушукались и толкались.

Старушки цепочками поплелись по домам, и Татьяна Сергеевна за ними. Она замерзла, просто заоченела, — казалось, в ней не оставалось ни кровинки горячей.

Отпирая замок, она обнаружила подsunутую под него белую и плотную сложенную бумажку. Развернула и удивилась: это была телеграмма.

Лет восемнадцать она не посылала и не получала никаких телеграмм, она даже забыла, как они выглядят. Прочесть в темноте она ничего не могла и, досадуя на замерзшие пальцы, все билась над заевшим замком, насилиу провернула ключ, вошла, зажгла свет и поднесла телеграмму поближе к глазам, все еще не уверенная, что это ей.

Там стояло:

«Разрешите остановиться... встречайте поезд... вагон 4... Лопухина».

Татьяна Сергеевна перечла телеграмму раз, два, три. Постепенно она начала понимать содержание. Она положила телеграмму на стол и рассеянно, машинально стала снимать пальто, но, так и не сняв его до конца, снова взяла листок. Полный текст был такой:

«Разрешите остановиться проездом один день встречайте поезд 42 вагон 4 субботу пять тридцать вечера Лопухина».

Татьяна Сергеевна отметила эту военную лаконичность и точность. Не надо было даже ездить на вокзал, узнавать в справочном бюро, когда приходит поезд 42. Нет, все было предусмотрено со странной, может быть не нужной, может быть обидной, заботой. Никуда не требовалось ни бежать, ни узнавать.

Татьяна Сергеевна походила по комнате из угла

в угол, убрала из-за стола два стула, поставив их по бокам шкафа.

«Мама, есть чистые сорочки?» — гулко крикнул за стеной машинист Павел Карпович и закашлялся. Было странно, очень странно слышать это «мама» из уст почти старика, каким был теперь машинист.

Татьяна Сергеевна побежала в сени за дровами. Она разожгла печь, выложила из карманов пальто яблоки, достала из шкафчика черствую булку. Дрожащими руками она принялась готовить шарлотку.

Она ужаснулась: как давно не чищена кастрюля, принялась тереть ее мочалкой, содой. Ложки и вилки тоже оказались темными, в пятнах, она тоже терла их.

За стеной часы пробили час, два, а она убиралась, скребла, мыла, устала до оупения, бессвязно думала о самых разных вещах и не постигала одного: как же это случилось, что она пятнадцать лет искала ее, эту женщину, и не могла найти, а она вдруг так просто прислала телеграмму.

Поставила печься шарлотку на малом огне, а сама уже плохо понимала, что и зачем она делает, все думала, думала в какой-то полудремоте...

.....

Поезд опоздал на три минуты, а за эти минуты Карелина, нервно прохаживаясь среди встречающих, всячески подготавливала себя к предстоящей встрече.

Если бы поезд не опоздал, если бы он пришел минута в минуту, она бы бросилась на шею Лопухиной и зарыдала бы, наверное. Но потом она подумала, взяла себя в руки и решила только ласково поцеловать ее. Потом она подумала, что неизвестно, как к этому отнесется гостья, и почла за лучшее не целовать. Под конец третьей минуты она уже была подготовлена встретиться и разговаривать ровно, вежливо, как всегда в школе и на улице.

Тогда появился этот злосчастный запыхавшийся паровоз. Мимо Карелиной прогрохотали красные колеса, багажный вагон, почтовый вагон. Она удачно выбрала место: четвертый вагон остановился как раз возле нее.

Сначала прыгнул проводник, продолжая вытирать

поручни. За ним спустился полный цветущий мужчина в пыжиковой шапке, поднял руку и, щелкая пальцами, заголосил: «Носильщик!» Потом сошла старая дама с черным пером на шляпе, проводник помог ей снять со ступенек чемодан в желтом чехле.

Затем вышла она.

Татьяна Сергеевна узнала ее сразу. На Лопухиной была штатская одежда, но сидела она как форма. Она была довольно миловидная, стройная женщина, с подкрашенными волосами и подведенными губами, держалась прямо и строго, порыскала глазами и остановилась на учительнице.

— Это, наверное, вы? — спросила она приятным грудным голосом. — Ну вот... здравствуйте...

— Здравствуйте. Вы знаете, я очень рада наконец с вами познакомиться! — приветливо сказала Карелина фразу, приготовленную в конце третьей минуты.

Произошла человечья заминка, потому что вокруг толкались, заставляя их посторониться. Репродуктор кричал: «Ввиду опоздания скорого поезда стоянка сокращается...»

— Давайте пойдем. Милости прошу, — как-то жалко пробормотала Карелина.

Они пошли рядом, исподтишка косясь и изучая друг друга, а внешне приветливо улыбаясь и начав обычную пошлую болтовню о разных пустяках вроде: «Как вам ехалось?», «Не холодно было в вагоне?» — «Да что вы, такая жара, а окон не открывают!»

На стоянке такси не оказалось машин: все уже расхватали. Они стали ждать. Машины изредка приходили, но их перехватывали еще на повороте разные бойкие люди, вроде того, в пыжиковой шапке.

Тогда Татьяна Сергеевна предложила пойти на трамвай. Но там тоже собралась большая толпа, трамвая долго не было. Они увидели машину с зеленым огоньком, побежали, но ее из-под самого носа перехватили. Тем временем трамвай ушел. Стали опять ждать на остановке.

Лопухина между тем рассказывала, что она едет отдыхать на Зеленый мыс под Батуми. Там, рассказывают, уже настоящее лето, купаются. Она замужем. Ее

муж — начальник отдела техснабжения. Есть двое детей, и она замучилась домашними заботами. Едва упросила мужа отпустить ее. Пробовали взять домработницу, но она оказалась воровкой, прогнали. Сейчас другая, из деревни, живет за то, что прописали постоянно, — эта старается больше. Девочка в детском садике, а мальчик в четвертом классе, приносит сплошные двойки — вот еще наказание, но это не потому, что он неспособный, а вышло так, что учительница взъелась на него, и теперь хоть переводи в другую школу.

Татьяна Сергеевна выглядывала трамвай, приветливо слушала, а у самой у нее вдруг заболело сердце. Так заболело, что она не могла вздохнуть. Она даже испугалась, что может упасть. Она с трудом выдавила:

— Как вы нашли меня?

— Вы знаете, мне Андрей много рассказывал о вас, о городе, о Землянке. Я подумала: что, если вы там по-прежнему живете, — и написала в адресный стол. Но это вышла целая комедия. Мне прислали адрес, да не тот, другая Карелина, и даже не Карелина, а Каренина, как у Толстого... Имя, отчество не сходятся. Ну, я пишу обратно...

Татьяна Сергеевна слушала, и с каждой секундой ей становилось все яснее, что эта встреча была совершенно не нужна, лишняя, бессмысленная... Вот до сих пор недоставало последнего штриха, можно было еще надеяться, искать и ждать. И теперь этот штрих сделан — больше ничего не осталось, пустота. Даже официальные письма больше не придут.

.
Шарлотка испеклась.

Часы за стеной пробили три. Татьяна Сергеевна очнулась и ошеломленно сообразила, что поторопилась с шарлоткой. Есть ее ведь нужно было горячей, прямо из духовки, а к завтрашнему вечеру, к приезду гостей, шарлотка потеряет абсолютно все свои качества — и их не вернешь, как ни разогревай.

Обычно этого торжественного момента появления шарлотки из духовки Илья Ильич и Андрюша ожидали с нетерпением, с приготовленными ложками, наки-

дывались и съедали в один присест, ничего не оставляя на потом, подскребая подгоревшее на дне.

Можно было пойти завтра в буфет, купить еще яблочко, если они там остались, и приготовить другую шарлотку. Но от усталости и бессонницы Татьяне Сергеевне стало наконец все равно.

Ну что ж, если Лопухина каким-то странным образом нашла ее, прислала так уверенно телеграмму, пусть приезжает.

Что ж, пусть.

8

Поезд пришел без опоздания.

Он почему-то прибыл не с той стороны, с какой ждала его Карелина. Она даже сначала не поняла: тот ли это поезд. Сотрясая перрон, прогрохотал потный, в потеках масла паровоз с красными гигантскими колесами, тяжелыми громадами понеслись вагоны, замелькали номера «1», «2», «3»... Четвертый она не успела разглядеть, все перепутала, ждала не в том конце перрона. Она бросилась бежать вдоль еще не остановившегося поезда, но, конечно, не успела добежать и до середины, как вагоны с шипением и лязгом остановились. Вклинился и сбивал со счета вагон-ресторан, ей показались вечностью те секунды, что она бежала мимо него.

Перрон напомнился людьми, она натолкнулась на какого-то солдата в гимнастерке без пояса и с пивной бутылкой в руке, чуть не упала, но только просительновинновато посмотрела на него. Когда она, задыхаясь, с колотящимся сердцем, добежала наконец до четвертого вагона, с него уже никто не сходил, и проводник со скучающим видом смотрел на буфера.

Лопухиной не было, целовались какие-то старички, носильщики кричали «Сторонись!», какое-то крикливое семейство кого-то встретило, не то приехало само, ничего нельзя было понять, потому что все они старались перекрычать друг друга, и только девочка в форме школьницы, с букетом в руках, застенчиво шла позади, забытая всеми. Несимпатичная пара — он стройный, стильно одетый, модный, а она простецкая, некрасивая

кубышка — растерянно стояли над чемоданами, поджидая носильщика.

Мужчина обернулся, и у Татьяны Сергеевны ноги приросли к земле: это был Андрей.

— Вы... вы... — сказала некрасивая женщина и закричала ей чуть ли не в самое ухо: — Я Лопухина, я Лопухина! Сашка, помоги, сядьте на чемодан, успокойтесь!.. Ну, не надо же плакать, господи!..

Но плакала, кажется, она, а Татьяна Сергеевна смотрела. Подошел носильщик и, склонив голову набок, привычный ко всякому, терпеливо ждал конца представления.

Мальчик, до ужаса похожий на Андрюшку, смущенно стоял переминаясь, — казалось, ему было неловко и не по душе все это.

— Как же вы нашли меня? — удивленно спросила Карелина.

— Я искала вас с сорок пятого года, вы уехали из Свердловска неизвестно куда, я искала через Министерство просвещения, потом я писала!..

Но Татьяна Сергеевна плохо слышала то, что она говорила.

— Андрюша, подойди сюда, — сказала она.

— Меня звать Сашкой. Здравствуйте, — корректно, сдерживаясь на виду у людей, сказал паренек. — Я вас представлял совсем другой!..

— Вещи к такси понесем? — спросил носильщик; ему никто не ответил, он стал деловито пропускать ремни сквозь ручки чемоданов.

— В каком же ты классе, Саша? — спросила Татьяна Сергеевна.

— В десятом, — баском ответил он, глядя исподлобья, точь-в-точь как Андрей.

— Как же вы доехали? — дрожащим голосом спросила Татьяна Сергеевна. — В вагоне было хорошо, не холодно?

Потом они как-то поехали домой, и приехали, сбегались соседи — бабка Феня, машинист Павел Карпович с женой, — охали, ахали, потом они ушли. Татьяна Сергеевна что-то делала, помогала ставить вещи, снимать пальто, щегольски одетый тоненький мальчик по-

давал ей воду в чашке с отбитой ручкой. Лопухина же была кругленькая, сбитая, проворная. Руки у нее были крупные и с мороза красные, косы по-деревенски расчесаны с проборою и закручены узлом, она даже говорила, как-то непривычно для «луха «акая».

— Я привезла фотографию, это все, что осталось, — сказала Лопухина, доставая из чемодана потертую любительскую карточку времен войны. Андрей, улыбаясь, исподлобья глядел в аппарат, на нем была ушанка и полушубок, тот, что так нестерпимо отдавал овчиной.

Только теперь Татьяна Сергеевна словно пробудилась, она увидела все и поверила во все — что это правда, что это жизнь.

Она прижала руки к щекам и наконец зарыдала от мучительно горького счастья — за себя, за всех вдов, матерей, дочерей, за все горе их и за все их муки; она понимала, что это ей одной так улыбнулась судьба, а скольким миллионам — нет. Что страшно подумать, как шли и гибли живые люди. Что хотя страдания и будут вечно, но должны же наконец кончиться эти кошмары прошлого, этот анахронизм, это дикарство, это варварство, чтобы Сашке, детям Шубмана, Хабарову, Петрову, Тряпкину довелось уже жить в мире без войн, в мире умном, коммунистически справедливом и совершенном.

Так должно быть, потому что люди идут к настоящему, дети будут счастливее отцов — да будет так на земле. Будьте счастливы, люди!..

СОДЕРЖАНИЕ

Селенга	5
Илья Лукич и Тонька	19
Маша	27
Бабкины олени	43
Юрка, бесштанная команда	51
Старый инструмент	71
Августовский день	81
Девочки	98
Биение жизни	130
Женщина	162

Кузнецов Анатолий Васильевич

СЕЛЕНГА

Редактор Э. С. Мороз

Художник И. Н. Куклес

Худож. редактор В. В. Медведев

Техн. редактор М. А. Ульянова

Корректор Э. В. Пронина

Сдано в набор 28/VI 1961 г. Подписано в печать
11/XI 1961 г. А 09916. Бумага 84×108^{1/32} Печ. л. 6^{1/8}
(10,04). Уч.-изд. л. 9,47. Тираж 30 000. Заказ № 971.
Цена 38 коп.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

